



В А Д И М
СУРГУЧЕВ

МЕНЯ
РАССТРЕЛЯЮТ
ВЧЕРА

Издательство
«Геликон Плюс»

Вадим Сургучев

Меня расстреляют вчера (сборник)

«Геликон Плюс»

2015

Сургучев В.

Меня расстреляют вчера (сборник) / В. Сургучев — «Геликон Плюс», 2015

ISBN 978-5-93682-814-0

Книга питерского автора содержит роман и несколько рассказов. Роман описывает конец 20 века, непростые отношения двух любящих людей, их попытки не дать остыть чувствам, как это часто происходит на втором десятке совместной жизни. Старая страна отжила, новой общество пока лишь задумывается забеременеть. Нужно пытаться сохранить имеемое, ничего важнее больше нет. Из рассказов необходимо выделить первую попытку в литературе изложить события восстания В.М. Саблина в 1975 году.

ISBN 978-5-93682-814-0

© Сургучев В., 2015
© Геликон Плюс, 2015

Содержание

Юго	6
Предисловие	6
Часть 1	7
Глава 1	7
Глава 2	8
Глава 3	10
Глава 4	11
Глава 5	13
Глава 6	15
Глава 7	18
Глава 8	20
Часть 2	25
Глава 1	25
Глава 2	28
Глава 3	30
Глава 4	33
Глава 5	36
Глава 6	43
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Вадим Сургучев

Меня расстреляют вчера (сборник)

© Сургучёв В., текст, 2015

«Геликон Плюс, макет, 2015

Юго роман

Предисловие

«Взмыть в небо желанием, поступком, мыслью; зная, что будешь непонятым и не прощённым за вольность, всё равно остервенело взмыть, оставив далеко под собой зависшую в чёрном космосе Землю.

Обернуться, взглянуть и улыбнуться, примерив и ощутив сладость боли от никогда не заживающего пореза на теле любви, отдавая ветру последний выдох:

– Я тебя залюблю до проталины в марте, не оставив себя у себя.

Отдавая, белея губами, чернея лицом, но обязательно улыбаясь».

Я вот так красиво хотел написать, но передумал и решил обойтись без предисловий.

Часть 1

Глава 1

Наше утро наступило в час дня, потому что я всю ночь поздравлял тебя, дарил букеты цветов и нежности так, что ты иногда смущалась самой себя: «Неужели всё это происходит со мной?» – как бы спрашивала и прикрывала раскрасневшееся лицо ладонями, а я их отводил. Потом меня поздравляла ты, и уже становилось непонятным, кто из нас женщина.

На работу с утра нам было не нужно – я уже несколько дней в отпуске, а у тебя работа на дому или по заказу, поэтому мы проснулись тогда, когда нормальные люди готовили обед.

Я слышал, как ты рядом со мной потягивалась, мурлыкала, осторожно повернул голову – нет, ещё не проснулась, хотя уже не во сне, но лишь на пути к пробуждению. Решил тебе помочь, тем более что ты удобно повернулась спиной ко мне и раздвинула, словно в беге, ноги. Мой торопыга указывал точное направление и тянул за собой. Покачал тебя на качелях, показалось, что так я помогаю твоему воображаемому бегу. Проснулась окончательно.

– Доброе утро, милый, – повернулась ко мне. – Мне приснилось, что мы с тобой уже ровно месяц. Я бежала к тебе, мы собирались отметить. Странно, какой приятный был бег, никогда такого не испытывала. Я бы побегала ещё.

– Это хороший сон, Юль, – засмеялся я. – Мы бежали вместе, тело в тело. Потом я передал тебе эстафетную палочку и стал легче грамма на три.

– Да нет, на все триста, пожалуй, – смеялась ты.

Долго хохотали вместе, нежились под одеялом, и вылезать нам не хотелось.

– Хорошо с тобой, хорошо в отпуске, хорошо в нашей маленькой квартирке, хорошо от чистоты и уюта. Всё потому, что ты. Есть. У меня. Теперь, – мне казалось, что я красноречив, но ты меня не поддержала, лишь улыбнулась и потащила гулять на улицу, в наш не по-зимнему мягкий питерский февраль.

– Хотела поговорить с тобой, – сказала на улице, когда мы подошли к талому, томящемуся переменной погодой льду.

Я сказал, что всегда рад слушать, внимать, понимать и не переспрашивать.

– Напрасно ты смеешься, я вполне серьёзна. Мы вместе уже месяц, а что знаем друг о друге? Ты не рассказываешь о себе, не расспрашиваешь обо мне. Я не понимаю этого, и это меня настораживает. Такое чувство, что ты, найдя меня, перестал принимать всё другое, будто упал в меня. Пойми верно, я люблю твою объёмную любовь, она меня греет так, как ничто раньше. Но непонятного страшусь. У меня такого никогда не было. Будь твоя воля, ты бы бросил работу, книги, еду даже и проводил бы всё время в кровати со мной. Кто ты? Откуда взялся?

– Разве это важно? – я искренне не понимал твоей печали. – Я, конечно, откуда-то взялся, но мне это знание совсем не нужно. Я хочу перечеркнуть и твоё, и моё, то, что было у нас до нас. Будто мы только родились.

Ты погрустнела, я заметил и, пытаясь тебя утешить, сказал, что имел обычное хорошее детство, нормальную жизнь, но как бы и не жил, и только встретив тебя, понял, что не жил, что без тебя всё это было – пресное тесто дебильной рутины.

– Ты говоришь те слова, которые способны меня успокоить, верно? – печаль на родном лице усиливалась. – Я не люблю слов ради слов. Ты не понимаешь, мне не нужно временное

успокоение, я должна знать тебя. Потому что, видя твоё погружение в меня, видя, как ты пророс там, во мне, я страшусь того, что мне нужно воздавать за это, а я не знаю, сумею ли. Я не знаю, что буду делать, как дышать, если, воздав тебе за тебя, также проращу в тебе, а потом ты вдруг поймёшь, что обманывался, и оторвёшься от меня. Я боюсь, поэтому мне и нужна правда.

Я прикурил на легком ветру, затаился и задумался. Что же я мог сказать ещё, коли уже убедил себя, что родился месяц назад.

– Мне нравятся те, кто на грани, – сказал я через пару минут. – Ты на грани. Висишь, пытаешься заглянуть за край понимаемого, ты на вершине нежности, я тебя всегда хочу поэтому. Ты выходишь из общего строя. Мне нравятся те, кто неловко чувствуют себя со всеми. Сам всегда хотел быть таким, но не выходило, потому и тянет.

– Со мной-то ясно, – ты впервые за всю прогулку засмеялась. – Но, может быть, есть ещё кто-то. Из тех, которые тянут, скажи, я пойму, ты мне станешь понятней.

Я сказал, что, конечно же, есть. Есть такие, которые трупами своих бывших жизней трамбуют пространство, которого раньше не было, там, за гранью. И благодаря таким людям у нас, у остальных, этого пространства становится больше. Мне бы хотелось написать об этом книгу – так я сказал.

– Книгу? – ты удивилась. – А сможешь? Видимо, нужно и самому каким-то образом быть причастным к тому, что пишешь, хоть краем крыла задевать. А ты разве герой? Не обижайся, но весь твой героизм лишь в полной отдаче мне. Это другое. Хорошее, но другое.

Долго ещё гуляли у залива, молчали. Наконец у меня мелькнула мысль, как мне показалось, хорошая, я улыбнулся и озвучил её:

– Хорошо. Я напишу другую книгу, про другого героя. А лучше, ты знаешь, давай напишем её вместе. Про мальчика. Всё выдумаем, пропишем, срисуем с других шаблонов, и, может, тогда я стану тебе ясней? Назовём его, например, Юрой.

– Да, – ты ответила, и я почувствовал, что снова тебя хочу. Хочу именно в это твоё «да», хочу долго и со стонами – и потащил тебя домой чуть не вприпрыжку.

Глава 2

– Ну это же так просто, – вот уже полчаса, как ты журчишь апрельским ручейком своего голоса. – Пойми, никто не винит тебя – да и не имеет права – за счастливый жребий сытого детства, нет, ну что ты. Ты получился добрым и чутким. Но именно получился, а «зависшие» возделывают себя сами. Нельзя выйти из болота, не попав в него, понимаешь?

Я понимаю, конечно, но, желая продлить радость прикосновения к твоему голосу, намеренно затягиваю наш якобы спор, пуская кораблики в журчание твоих звуков:

– А можно не попадать в трясину?

– Можно, – ты тиха и кротка, подобно песчинке со дна океана, но и тверда, как она же, ибо и у могучего седого океана неостанет сил раздавить тебя. – Но вышедший из грязи, поборовший в себе и вовне опасности хорошо знает их суть и не захочет вернуться в зазеркалье. А ещё знает, как не вернуться, ибо не просохли склизкие следы за спиной. И, наверное, сможет других уберечь.

– Не факт.

– Это у тебя не факт. А у нашего Юрки – самый фактовый такой факт, – у меня радостно мурлычет в груди, когда я вижу твоё упрямое топанье. А ещё ты поджимаешь губы, словно захлопываешь тетрадку с гербарием осенне-красных кленовых листьев, и я понимаю, что самое время согласиться.

– Согласен. Но тогда и у родителей его – как бы настоящих – тоже в душе саднить что-то должно. А то как же они обеспечат нашему мальчику трудности?

– Да.

Ох уж это мне твоё невесомое нежное «да». Короткий мягкий слог кажется мне способным напоить жаждущего, согреть солнечным лучом истерзанную душу обездоленного; слог, вдыхающий силы в одрябшие мышцы, нежащий ласковыми руками матери.

После твоего «да» как-то особенно сильно хочется жить, радоваться свободе, будто стоял в переполненной электричке три часа кряду, изредка меняя затёкшие ноги, потом, вывалившись на своей станции, тут же упал в тишину пахучей летней травы пригорода и вмиг познал язык кузнечиков и мурашей.

Можно любить звуки, можно любить даже за одни звуки. Я мог бы тебя любить лишь только за твоё «да».

* * *

Итак, начнем с Юркиных родителей.

Моряки. Вернее, им, особенно отцу, так казалось. Дождь не горе, Балхаш – не море. Однако другого моря у отца не имелось, и он им, разумеется, гордился. Мама с Арала. Тоже не бог весть что. Где-то там молодыми встретились – и завертелось. Или заволновалось. В этом слове больше морского. После того как всё, что волновалось, успокоилось – почти сразу, – всё их морячество и кончилось. Дети пошли, знаете ли. Позвольте, скажете вы, прежде детей бывают родители. Когда вы так скажете, вы будете правы. Но с дедушками и бабушками у Юры сложились серьезные проблемы, с их наличием то есть. На момент Юркиного рождения у него в живых имелась только бабушка, мамина мама. Остальные канули. Однажды они втроём – отец, мать и Юра, которому тогда было лет семь, – ездили на могилу к бабушке по отцу. И получилась тогда такая история.

Поезд их вёз полтора дня. Приехали, вышли, после долго шли по лесу. Пришли на опушку леса, там отживало своё старое кладбище. Настолько старое, что почти незаметное среди огромных тополей и дубов. Стали искать нужную могилу. Нашли быстро, она оказалась в стороне от всех прочих, протерли фотографию, и с неё зыркнула женщина. Нет, не так. Зыркнуть может случайный звонок телефона в ночи. Зыркнуть и исчезнуть. А этот её взгляд был неизменно тяжёлым, опасным, как летящий локомотив, острым, словно казацкая сабля. Юрка убежал от такого взгляда. Он стал собирать ягоды, пока родители занимались тем, что обычно делают все в таких случаях. Моют-красят-белят-правят. А минут через двадцать Юркин папка сошёл с ума. Всё, что только что поправил на могиле, он с криком сломал, вывернул, ударил и оторвал. Потом повалил памятник и стал рыть землю ковшом своих больших ладоней. Остановить его никто и не пытался. Ни мать Юркина, ни он сам не двигались, их сковал ужас. Отец наконец устал и утомился. Правда, долго валялся на бывшем холме и рыдал. После этого все трое молча восстанавливали порядок. К поезду возвращались тоже молча, а в поезде Юрка всё подслушал. Вернее, не всё, конечно, но чтобы понять, что произошло, хватило. Бабушка, та, что с фотографии, маленького Юркиного папку (ему было шесть), посадила на поезд, и мальчику нужно было проехать одному тысячу километров – к бабушкиной сестре. То есть Юркин отец ехал к своей тёте. Да не доехал, взрослые во время стоянки послали его за водой, тот от поезда и отстал. Его приютили чужие люди. У них он прожил лет восемь. А о матери своей помнил лишь то, что ругала его всегда и почти не кормила. А потом посадила в поезд. Теперь, через много лет, у отца нервы и не выдержали. Причём выпил отец только сейчас в поезде, на могиле же был трезвым – Юрка в этом уже давно разбирался.

* * *

Поставил точку, отложил листок с нервно прыгающими буквами и повернулся к тебе – всё так же сопишь, улыбаясь чему-то в безмятежных снах, лишь белое одеяло сползло ниже, приоткрыв часть тебя.

Прилёг рядом – за окном уже поздний вечер. За окном – редкими размытыми огоньками мерцает темнота, рядом – ты.

Глава 3

Самый приятный звук – звук тишины. Ты часто наполнишь ею пространство. Вторя тебе, не желая нарушать гармонию, помалкиваю, лишь изредка украдкой бросаю на тебя взгляд, чтобы дозаполнить и пропитать себя тишиной.

Люблю пить твоё молчание, любоваться им, как прозрачностью ночной рубашки, рисующей контуры любимого тела. Твоего тела, освещённого белым глазом ночного неба.

Ты взяла исписанные листочки и, неслышно утонув в огромном кресле, погрузилась в чтение, а я замер-умер, оставив в живых только мысль и слух. Я ждал и ощущал, как рождается Тишина из стука моего сердца и беглого движения твоих глаз по строчкам.

Рождаться Юрка не хотел. Конечно, распорядиться заранее относительно своего появления, он не мог. А вот когда научился задавать вопросы, одним из первых был: почему у него никто не спросил, хотел ли он рождаться. Такой вопрос возникал у него и позже, когда что-то получалось не так, как он ожидал. В вопросе том, а в особенности в отсутствии ответа обнаруживалась для Юрки какая-то вселенская несправедливость. Много позже, исследуя процессы обнаружения справедливости, Юрка понял, что той самой справедливости, которой ему всегда казалось мало, – её просто нет на земле. Либо всё, что происходит вокруг, буквально всё, без исключения – это справедливо. В общем, этот сложный вопрос и его разрешение навеки зависли в Юркиной голове как очень важные.

В Юркином детстве не было игрушек. Не то чтобы их не было вовсе, были, но лишь те, что ему удавалось найти на улице или выдумать самому. Родители жили бедно, за руганью и водкой было не до игрушек для младшего сына. Их тогда было двое: Юрка и его старший брат. Брату малахольный Юрка не нравился, и брат Юрку часто бил. За всё, что не нравилось. За не вымытые братом пол или посуду, не заправленную братом кровать, за то, что тот играл в нарисованных кукол, за то, что любил читать, за задумчивое лицо, одним словом – за всё, что вздумается. То, что происходило у Юры дома, вся эта ругань и вой – всё казалось нормальным, потому что другого он не видел. В том, что отношения в семье могут быть человечнее, чище и правильнее, Юра убедился лет в шесть, когда стал дружить с мальчиком Сашей из своего двора. У Сашки дома, где теперь Юра часто бывал, было тихо и приятно. Любой вопрос решался спокойным вкрадчивым голосом добрейшей Сашкиной мамы, тёти Дуси. А Сашин отец уважал Юру, жал ему руку, как взрослому, разговаривал с ним так, как никто раньше. Без насмешек, но не строго. Оказывается, и так можно. Это оказалось чертовски приятно – когда тебя уважают. Ну а когда Юра однажды всё-таки выиграл у дяди Бори – многократного чемпиона своего института – партию в шахматы, Юрку стали уважать безоговорочно и достаточно сильно. Несмотря на его драные носки. Впрочем, за них Юрке всегда было стыдно, просто других не имелось.

Однажды в сентябре наступила школа, туда Юрке хотелось лишь первого сентября. Второго уже не очень. Там поначалу ему пришлось тяжело. Все эти Таньки, Инки, Димки, и

эта Вера Яковлевна, классная руководительница, было трудно переносимым. Одноклассники орали просто так, учительница орала, чтобы, видимо, чему-то научить.

В первом классе у Юрки появилась сестрёнка. Тогда бабки во дворе, галдя промеж себя, стали называть Юркину семью нищетой. Слово неясное, но обидное. Юркин брат с балкона обстрелял бабок мусором, а кого-то из их внуков избил.

После второго класса умерла мамина мама. В доме, и без того похожем на балаган, всё полетело в пьяную даль. Воспитание маленькой девочки, не сговариваясь, переложили на Юрку, которому в ту пору было девять лет. А через год выяснилось, что младшая сестра больна эпилепсией.

– Знаешь, когда я была маленькая, – вдруг сказала ты, резко прекратив читать, – у меня кукла была, мне её папка купил. Красивая японская кукла. Всё бы хорошо, весело и радостно. Да только мама решила, что я её сломаю, поэтому я любовалась на свою красавицу издали, брать её в руки мне не разрешали. Наверное, это лучше, чем придумывать себе игрушки. Хотя придуманные никто не отберёт.

– Хочешь, я почитаю тебе сам? – чуть всколыхнув тишину, попросил я.

Дальше я читал ей про голод, который для Юрки был самым сильным чувством в детстве, про пьянство родителей, про злые насмешки Юркиного окружения. Этого всего было много. Даже, пожалуй, чересчур много, для того чтобы уместилось в одну человеческую жизнь. Поэтому я оборвал себя на полуслове, тем более что увидел, как ты уснула. Нет ничего удивительного в том, что чьи-то обиды и горести оказываются непонятными для другого. Тем более обиды и горести вымышленного человека. Я захлопнул тетрадку. Нет, я не расстроился. Подобное я называю эффектом качки. Слово все знают, смысл вроде тоже знают. А вот что стоит за словом конкретно, как выпрыгивают внутренности, как выблёвываются мысли в вакуум тьмы этого ада, что за винегрет гнилых запахов вокруг – чтобы это понять, надо пережить качку самому.

Глава 4

В тот день привокзальная площадь разлучала нас. Я смотрел тебе вслед, не уходил. Ты же знаешь – я не могу уйти, пока тебя не спрячет толпа, подворотня или смог гриппозного, но самого замечательного города. Всё равно не уходил, ещё долго смотрел в твою сторону, и душа начинала выть, наращивая звук страдания от разлуки. От комариного писка до рвущих перепонки корабельных тифонов и сирен: «Отдайте назад сокровище моё! Вы все сможете, а я не умею!»

Я уезжал далеко – служебная необходимость. С собой – три полные сумки. Тяжелые слёзы мук по тебе – в одной. Ревность жгучая в другой. И ещё со шмотьём – третья.

О, я ревновал даже к воздуху встречному, что обдувал твои покрасневшие щёки – мне не касаться их долго, а ему почему-то можно, как же я его ненавидал в тот момент. Хотелось кричать: «Разгони смог, солнце, отступите, подворотни, верните любовь мою!»

Хотелось бежать, бежать за тобой, очертя голову, обгоняя вой внутри. Да сумки тяжелые не давали, да мозг рвало на части и не спасали даже руки, тисками, до скрипа, сдавившие виски.

Приеду к молчаливо-седому морю, встану перед мудростью молчания на колени и попрошу защиты. Для тебя. «Защити её, море!» – крикну... и добавлю солёного в его седину.

У нас, когда я приехал на место и приступил к выполнению не очень хорошо знаю какого задания – некогда мне, тебя люблю, – началась эра писем. Когда слова признания и любви сами ложились ровным слоем на хлеб, отчего он просился в рот, и я откусывал помаленечку, боясь сделать больно нашей любви жадными зубами-губами. Не жевал и не глотал, подолгу держа в

себе твои буквы. Люблю их каждую, до единой, до запятой, до многоточия. Потом выкладывал их, перецелованных, на ладони, разговаривал с ними, играл в семью.

«Где-то ты идёшь-стоишь-сидишь. Где-то, не со мной. Во сне, наяву – неважно – оттяты твои тонкие пальцы от меня сейчас, полны чужими голосами уши, глаза отражают другие контуры. Там жизнь, лениво-буднично-подозрительно-полноправно объемлет тебя браслетами с датчиками, и изотопы принадлежности метят твой след с лабораторной методичностью.

А в моей лаборатории дежурный бог в белом халате достаёт меня из клеточки, закрепляет лапки в ремешки, делает инъекцию, наблюдает реакцию, вносит метки в хроники, мило-стиво опускает в клеточку, заботливо задергивает шторку от яркого света бактерицидной лампы.

Два маленьких предмета для опытов, два бесправных объекта исследований, два лагерника из разных барачков, уколотые одним ипризцем.

Нам надо бы любить своих лаборантов, нам надо бы кайф ловить от стерильного уютя, а не упиваться сходством своих данных – ведь мы образцы, мы не и не могли быть другими».

Я читал распечатки твоих писем, бродя у моря, и часто нашёптывал ему свою новую молитву, хоть и со старыми просьбами: О, бог мой морской, моё Море, не дай закончиться её любви никогда! Не шипи на меня приливами, не хлещи солёным ветром по лицу за недочёты мои, за перелюбовь, перенежность и пережадность! Так, до обессиленности просто, люблю её! Так не дай же закончиться любви!

Ты позвонила ночью, извинилась, но я не спал, мне без тебя совсем не спится. Нет рядом любимых поджатых коленок, которые всегда хочется повторить-окутать своим еле-касанием. Не хочется спать, потому что с утра некому шептать: «Доброе утро, любимая! Я так долго тебя не видел. Целую ночь!» И не переставая шептать тебе нежности, впиваться раскалёнными желанием губами в любимое разомлевшее тело.

– Прости, что, возможно, разбудила – спать не могу.

– Вот и я не могу.

– Вдруг ты утром проснёшься раньше меня и напишешь мне письмо. Знаешь, ты очень красиво печатаешь, как красиво всё, что ты делаешь. И вообще ты очень красивый. Но на тебе лежит такая тень... и только когда ты выглядываешь из неё, красота обнаруживается, как-то вдруг. А потом смещается свет, и снова ты в собственной тени...

«Чёрт возьми! Только не замолкай, звучи!» – думаю я, и ты звучишь.

– Я хотела сказать, что ты мне снился прошлой ночью. Во сне ты проснулся, крича моё имя среди ночи. Ты забрел в мой сон. Нет, там ничего страшного не было. Я помню только, что ты путешествовал руками по моей спине, рисуя странные траектории, нажимая на только тебе ведомые точки, совершая какие-то пассы, изгоняющие дурное прочь из меня. Это странное раздвоение, которое мучает меня наяву, во сне тоже присутствовало: мне было так естественно лежать у тебя на руках, отдаваясь твоим мыслям обо мне. Ты словно уходил в транс и брал меня с собой. Но там, во сне, вокруг нас были люди, они не то чтобы оттащивали нас друг от друга, даже не препятствовали, нет. Они просто были и мешали уже этим. Мешали, как при ходьбе мешает маленький камешек, залетевший в сандалию, но невозможно остановиться и вытряхнуть его, оказывается, он уже попал под кожу и обустроился там. И я понимала во сне, что нужно сделать усилие над собой и вынуть себя из твоих рук, из их подвижного кольца – вокруг ведь столько людей! И я совершила это усилие. И тут же проснулась – у меня онемела рука... Зачем я выдержала себя? Я себя ненавижу. А тебя люблю. Такие дела.

Мне после этого твоего признания показалось, что я долго пылил по тропам пути из рождения в никуда, долго, долго. Еле брёл, поднимая клубы грязи-дыма-пыли, что въедались в лицо, закладывали уши, залепляли глаза. Боялся вопроса «зачем всё?». Боялся жутко: знал

– ответить мне нечего. Часто просыпался ночами в испарине волнения. Всё казалось: стар я уже, сед, остановился передохнуть, оглянулся назад, и... так и не смог ответить «ну к чему же всё было?» Страшно.

А мне, признаться, давно уже, кроме тебя, всё без надобности. Думай о себе, что хочешь.

Глава 5

Между тем командировочные дела мои почти не продвигались. Я силился разглядеть в далекой дали их окончание – тщетно. Здесь, на базе, много людей. Бородатых, седых и лысых. С мохнатыми звёздами на плечах и в гражданских пиджаках. И у тех и у других глубокие академические борозды ума над кустистыми бровями. И на тех и на других груз ответственности принятия важного решения. За каждым из них организации с такими страшными названиями, что меня колотит коленная дрожь, затрудняя мыслительный процесс.

Я среди этих людей, и мы все числимся умными. Вернее, все другие, кроме меня, точно знают, что они умные. В себе я не уверен. Хотя и стараюсь, подражая адмиралам и академикам, сдвигаю брови и вытягиваю губы. Ещё перед тем как высказать вслух мысль, я научился тянуть букву «э» и небрежно откидывать полу пиджака.

Получилось так, что рядовая командировка неожиданно обернулась для меня затянувшимся участием в решении государственных вопросов, которые должен был по статусу решать специалист как минимум на две должности выше меня.

В день моего приезда на базу флота на одной лодке случилась авария. Разгерметизация первого, активного контура. Министерство обороны со всей России собрало специалистов самого высокого уровня. От нашей же организации там по рутинным делам оказался я, и мне было велено задержаться, чтобы представлять контуру.

И они все там думали, что я такой же умный и специалист. И я целыми днями соответствовал. А вечером, созвонившись со своими мэтрами, узнавал у них, как соответствовать завтра.

Нам всем, умным, очень нужно было попасть в аварийный отсек реактора, но химики базы сказали твёрдое «нет». Все академики – и я – спрашивали возмущённо: «Почему?»

– Потому, – отвечали химики. – Грязно там. Радиация. Недельку будем дезактивировать.

– Но... – негодовали академики, и я тоже, но не успевали возразить, так как нам демонстрировали спины.

Несколько дней академики изучали вахтенный журнал лодки. Этот журнал заполняется дежурным каждый день, на любом корабле. В нём фиксируется всё: когда и какой механизм включили, выключили, кто, когда и с какой целью прибыл на корабль и всё остальное. Вот мы и стали его изучать, для того чтобы уяснить, как действовали моряки во время аварии. А уяснив, отправить в свои организации подробный отчёт об этом.

Все седые и умные – и я с ними – распределились по очереди. Журнал-то один, а нас много.

И тут я испугался. За моряков. Умные дядьки скрупулёзно, слово в слово, букву в букву, переписывали себе на листочки заметки из вахтенного журнала. А журнал этот, я бы сказал, очень тонкая вещь. Личная, я бы добавил. В него изо дня в день, годами, все события записывают до деталей, и никто посторонний в него не заглянет. А пишется всё-всё, до самых-самых мелочей. Известна старая мудрая морская поговорка: «Записал, но не сделал – халатность; сделал, но не записал – преступление!» Вот и пишут в журнал дежурные всё, что положено. А порой и то, что совсем не положено, развлекаются.

И тут я вспомнил журнал лодки, на которой когда-то служил. А вспомнив, покраснел и ещё больше испугался. Я-то во время дежурства вёл себя почти смиренно. Лишь пробовал разный почерк, вплоть до ленинского – хрен чего поймёшь. Ну ещё иногда развлекался не вполне

установными записями: «7.30. Прибыл экипаж. И мичман Кузнецов тоже, у которого вчера был день рождения. Вот зачем он это сделал? Сказался бы больным. Теперь все тараканы мои – его каюта за переборкой. Сука, Лёха, с днём рождения!»

Или так ещё: «Окончено осушение трюма второго отсека погружным насосом. Чтоб не заквакало, приказал сушить под ветошь. Проверил – сухо, как у монашки в причинном месте».

Вспоминаю и другие записи, уже не мои: «2.00. На пирс прибыл начальник штаба. Снял верхнего вахтенного с дежурства за чтение книг порнографического содержания. Я не знаю, может, у него обычай такой – по ночам колобродить. И где я ему другого верхнего найду ночью? На лодку не спустился, к соседям пошёл. И на том ему глубокое мерси. Хо-хо, чего же боле».

Помню, стоял как-то на вахте наш штурман Игорёк. Верхний вахтенный доложил, а Игорь красиво записал в журнал: «На пирс прибыл вице-адмирал такой-то». Написал и выско-чил наверх доложить и встретить начальника. И только перед сдачей вахты Игорь заметил, что чуть ниже той его записи, кто-то, копируя его почерк, рассудительно добавил: «Да и хрен с ним».

Был у нас затейник, Сашка-минёр. Писал он много. Но что именно, порой и сам потом разобрать не мог. Но дело не в этом. За сутки на вахте дежурный много раз расписывается. Так вот, Сашка всё время делал это по-разному. И не подписями, а рисунками, к которым имел тягу и способности с детства. Рисунки его подписные всегда были приурочены к какому-нибудь празднику. Грядущему или прошедшему. К Восьмому марта он вместо подписи рисовал голую женщину с грудями разной величины. В канун 23 февраля – красивую торпеду, а у её основания – пару сверкающих, чуть волосатых ядер. На новогодние праздники, понятно, ёлочка с игрушками, под которой – пьяный дедушка. На день влюблённых тоже что-то рисовал. Не сердечко, конечно. Другую валентинку.

Я как вспомнил всё это, как увидел, что академики мои вчитываются, потея, в морские каракули, так и съёжился весь. Сижу, слушаю, смотрю. Ничего, вроде. Кажется, никто стыдливо не краснеет. Читают, передают журнал дальше. Вот он уже перешёл к дедушке, что рядом со мной сидел. Долго тот его вертел. Всё искал чего-то, запись какую-то важную. Пролистал до последней страницы. И замер.

И на меня глаз скосил испуганно. Заметил, что я словил его испуг, и тут же захлопнул журнал, сделав вид, что всё, что ему было нужно, он уже нашёл. Передал мне.

Я нашёл нужное и сделал выписки по аварии. Моряки действовали чётко, грамотно и отважно. А на последней странице, так смутившей дедулю, кто-то ручку расписывал. Всего лишь. При выполнении такого привычного действия, естественно, уходишь мыслью глубоко в подсознание. Оно же после пустых борозд и выдало то, что в нём и находилось в тот момент у моряка. А именно – троекратное повторение названия мужского полового органа.

А на корабль нас всё ещё не пускают. Говорят – неделю ждать. Если так, то, возможно, через пару недель куплю билеты домой. Билеты к тебе. Так и скажу в кассе Аэрофлота: «Мне, пожалуйста на ближайший рейс Северная база – любимая моя». И пусть там все думают, что я идиот. Они просто никогда не видели тебя.

Ты молчала. Уже целых два дня невыносимо молчала. Не отвечала, не брала трубку, не писала писем. Во мне вскипело безумие из-за такого тотального отсутствия тебя. Я ходил, плавал полумыслью, полурёвом-полустоном надрывал сердечную мышцу – половина я! Без тебя – одинокая заброшенная половина! Сам виноват – зачем вспомнил о твоих прошлых любовях недавно в телефонном разговоре? Обидел рыком раненного зверя, закапканенного самим собой. Дурью своей, ревностью обидел. До слёз.

Когда же домой? Когда же к тебе? Постучусь в порог осторожно, буду стлаться змеёй по твоим следам, буду молить о пощаде-прощении, твердить, что дурак, что труден порою мозгами, что люблю тебя жизни всей больше, что гибну.

Когда же домой?

Глава 6

Как пронзительно холодно оказаться на краю Земли без тебя, да ещё порвать по дуристину, связывающую с тобой. Без тебя ничего не желается, холод колет и рвёт ткани моего неуклюжего тела.

Ты где-то далеко, не географически, а совсем далеко от меня. Настолько, что мысль моя не пробивается сквозь толщи ледяные. Холод снаружи, холод внутри меня.

Как глупо получилось: я разбирал файлы в ноутбуке, увидел снимок, резанувший по глазам, и понеслось... Кто поймёт природу стихии, место рождения смерча кто укажет? И никто не знает, как с этим бороться.

Мне кровь хлынула в щёки от этого снимка, а рикошетом ударило по тебе, заковало в лёд тело, душу, сердце. Холод огородил тебя белым, сверкающим накатом до неба, до солнца, до космоса – обжигает красотой холода дворец твой. Сидишь в красоте безмолвия белой ночи, без движения, без счастья, без любви.

А я снаружи, отрезанный от тебя.

Но любовь не позволит вырвать тебя из моих сведенных болью пальцев, побелевших так, что на фоне ледяного дворца твоего они незаметны.

Как невыносимо тяжело вслушиваться в твоё молчание, перепонки лопаются от тишины твоей немоты.

Я, повисая в клубах сигаретного дыма ночных гостиниц, продолжил придумывать Юрку, схватился за него, как за прибрежный камыш, чтобы не утонуть в омуте-без-тебя.

* * *

Живую, но почти не дышащую сестрёнку принёс на руках сосед. Юрке стало страшно. На всю жизнь самыми неприятными вещами станут те, чья природа будет Юрке непонятна. Сейчас произошло первое соприкосновение с чем-то именно таким.

Соседи рассказали, что девочка спокойно играла в песочнице, вдруг медленно начала оседать и повалилась на бок. Маленькое тело забилося в конвульсиях, изо рта пошла пена.

Какие-то слова грозно кричал, путано доказывал пьяный отец – обвинил во всем случившемся Юрку и выгнал его из дома.

Юрка ходил между домами и слушал сон города. Не плакал – считал себя уже взрослым. Под утро вернулся – замёрз очень. Холод сосчитанных на небе звёзд взял его изнутри.

Настало время бесконечных и бесполезных врачей, больниц и ночных дежурств у палаты. Время воткнутой в тело в области сердца здоровенной иглы, прилепленной пластырем. От иглы – длинный, прозрачный провод наверх, к перевернутой бутылке.

Девочка улыбалась брату и маме, говорила, что больно, но она уже привыкла. Катетер из под сердца не извлекали, потому что днём сестра всё время была под капельницами. На ночь иглу вынимали, дырку заклеивали пластырем, а утром всё по новой.

Так продолжалось два длинных года. Больницы, врачи. Врачи, больницы, палаты. И разные диагнозы. Всегда разные. Каждый врач боролся со своей болезнью, а приступы продолжались.

Наконец все доценты и академики развели руками и сказали: единственное, что остаётся, – постоянный пожизненный прием сильнодействующего препарата, гарантирующего отсутствие приступов. Фенобарбитала.

После года такого «лечения» сестра стала сильно отставать в развитии. Во дворе над ней часто смеялись. И тогда Юрке приходилось драться.

В школу её всё-таки взяли. В класс для умственно отсталых детей. Кстати, в городе была только одна школа, где имелись коррекционные классы. Юркина школа. Теперь над ним смеялись и в школе.

В очередной раз кончилось Юркино детство. А было ли оно? Создавалось впечатление, что некто чёрный ворвался и перемешал все краски, превратив некогда чудную картину мира в безобразное творчество опьяневших держателей власти. Будто свежий, непросохший, написанный маслом шедевр смазала закопчённая ладонь шахтёра.

Со временем у Юрки проявилась взрослая манера легко высказывать вольные мысли – манера, поражающая одноклассников и учителей. Мысли он ронял небрежно, совсем не заботясь о том, что их можно подобрать и присвоить себе, напугаться или пугать других. Они, мысли, звучали так, словно в пустой огромной зале кто-то ронял на мраморный пол монетки, по одной.

Предметом трепетной любви стала математика. А формула разложения суммы квадратов даже возвела его на пик школьного математического олимпа.

Дело было так. Однажды Юрка, отсидев привычные полночи над любимыми цифрами, восстановил математическую справедливость.

– Вот, – положил он на стол учительнице исписанный мелким, аккуратным почерком листок, – Посмотрите, Валентина Ивановна, я придумал формулу разложения суммы квадратов.

– Интересно, я взгляну после занятий.

На следующий день Юрка ожидал ответа Валентины Ивановны, но когда настал наконец любимый урок и он влетел в любимый кабинет к любимой учительнице за неизбежными похвалами и внеочередным званием умнейшего умника, то всё случилось не так, как ожидалось.

– Я посмотрела, – сказала тихо Валентина Ивановна. – Всё верно. Только, видишь ли, в разложении ты использовал радикалы и дробные степени, отчего ценность сделанного тобой сильно снижается ввиду трудности использования.

И вернула листок расстроенному Юрке. После этого он разлюбил учительницу математики, не оценившую по достоинству его труды.

Прошло два года и Юрке – уже десятикласснику – поручили вести факультативные математические занятия с девятым классом. Факультатив посещали очень грамотные ребята. И поначалу Юрку встретили скептически. «Ну чему, спрашивается, может научить человек, который всего на год старше?» – так примерно думали парни.

Тогда-то и настало время достать из рукава ту припрятанную «сумму квадратов».

– Вот простая система из двух уравнений. Если решите, откажусь от занятий и скажу учительнице, чтобы освободила меня, поскольку не справился, – предложил своим подопечным юный учитель.

Система уравнений показалась простой, и девятиклассники охотно согласились. Но прошёл день, затем неделя, другая, а результата всё не было. Несколько раз к нему подходили сияющие ученики с исписанными формулами тетрадами в руках, но всякий раз в решении находились ошибки. На третьей неделе сдались все, кроме троих, самых упорных. Но и у них ничего не получалось. Наконец не выдержали и они и попросили показать решение.

А всё оказалось просто. И строилось решение на том самом разложении квадратов. И когда Юрка, краснея, сказал ещё, что формула принадлежит ему, то подопечные признали: этот парень имеет право учить их – отличников и победителей олимпиад, лучших учеников школы.

* * *

Я, видимо, так и уснул за столом, лбом в исчерканные листы, левая рука под скулой, а правая зажала авторучку. Разбудил будильник – на работу, которой конца не было видно.

Кажется, в тот день я кому-то нахамил. Источать добро и свет вокруг себя желания не было – коллеги своей хваленной военной дисциплиной отдаляют встречу с тобой. Не до благодушия мне.

Вечером, без особой надежды на ответ, отправил всё написанное о Юрке тебе. И снова не спал ночь, от злости занимал себя придумыванием матерных стихов. А утром пришёл, пришёл от тебя ответ.

Ты писала, что это не литература, а баловство. Что если мне так удобней, то, конечно, да, балуйся, а вообще-то получилась полная фигня, и надо бы убить в себе писателя, придушить попытку так думать и даже захаркать матюгами того, кто не согласится с этим.

И пусть, и пусть такой ответ. Всё равно какие, лишь бы твои слова. Твои. Для меня. Чудо-инъекция, неясно от какой именно болезни, впрыснутая вовремя. Я выздоровел. Ушла злость, и снова появилась надежда быть с тобой, быть для тебя. Я написал тебе нечто любовное до дрожи, до судороги. Мне очень понравилось то, что я написал, и было мало дела до литературы в моих письмах.

Ты позвонила сама утром, тихонько щебетала в меня, радостного:

– Читаю твои письма весь день, пытаюсь ухватить какую-то важную мысль, а она скользит рядом, но не даётся... и пальцы у меня неповоротливые нынче, чтобы таких мотыльков ловить.

– Не читай. Потом.

– Писать не могу ничего, тоже из-за медлительности мысли.

– Не пиши.

– То, что произошло страшное, – тоже не сказать словом. Если говорить о моей реакции, то что это было? Обида? Нет. Ярость? Нет. Оторопь? Пожалуй. Эта твоя реакция... Ладно, пусть ревность. Но ты не стал спрашивать меня ни о чём. Сделал молниеносные выводы, которые мотивированы только одним: «меня выставляют в смешном свете, издеваются!» В таком состоянии ты не думаешь уже ни о чём. Ты не думаешь о том, что почувствую я. Тобой движет лишь яростное желание крикнуть: «я – не дурак!» Когда ты видишься мне таким, это нестерпимо, я делаю себе ментальную анестезию и замораживаюсь. Вот и всё.

– Не всё. Я во всём виноват. Ты должна, ты обязана меня простить.

– Не нужно говорить «простить», это ни при чём. Это не вина. Меня просто поразила степень моего выбрасывания за пределы ощущения любви в таких вот моментах, когда ты бузишь.словно происходит подмена меня, мое отношение к тебе леденеет. Я не злюсь даже, не возмущаюсь, у меня не теснятся в голове слова, как обычно бывает. Я просто становлюсь «вне зоны доступа». Для тебя. Вижу всё происходящее, как со стороны. Вижу спектральный состав твоих истерик и не испытываю ни любви, ни сочувствия. И мне страшно от этого. Это – не я. Я другая. У этой «ледяной» меня всё ледяное.

Ты замолчала. Я слушал, как ты думаешь.

– И в такие зависшие во времени моменты я не умею быть другой. Мне не расковать лёд, не вырваться за пределы мерзлоты эмоций. Сейчас немного отпускает. Но было очень страшно. Очень. Никогда так не было. Никогда мужские поступки не леденили меня. Было больно от некоторых, было горячо, но это всё была жизнь. А тут... тут другое. То, что ты, не разобравшись, взбил коктейль из моей острой глупости многогодичной давности, а потом вколол этот коктейль мне, произвело вот такое действие. Я боюсь вновь попасть в подобное оледенение. Там страшно.

– Страшно. И я вверг тебя в страх. Не желая, поверь. Поверь мне.

– Потом. Всё потом. Это пройдёт. Мне нужно время.

– Возьми время. Возьми сколько хочешь времени. Я буду ждать. Сколько надо.

– Спасибо.

Тебе потребовалось двое суток, которые я честно отмолчал, сотни раз отводя руку от телефона, отводя застывший над клавиатурой палец. Не писал тебе, не звонил.

Потом ты простила меня, об этом я узнал из твоего письма, тебе хватило времени. От счастья хотелось станцевать какой-нибудь зажигательный танец, но я решил отложить мувинги и схватил трубку.

– Ты простила меня? – спросил я взволнованным голосом.

– Ты о чём? – я услышал в трубке твой полудетский смех. – Приезжай скорее, я так сильно соскучилась.

Возможно, это тебя услышал Господь. Потому что на следующий день расследование закончилось. Закончилось наконец моё отлучение от тебя.

А ещё через день, побросав у парадной сумки со слезами и ревностью, я влетел в открытую дверь и с разбегу угодил в уют твоей улыбки.

Глава 7

Встреча, которую так долго ждёшь, живёшь ею, много раз проигрываешь в голове в разных вариантах, – видится счастливым туманом. А когда я обнял тебя, то снова, как много раз раньше, почувствовал себя мальчишкой. Словно мне семнадцать и случилась первая любовь. И желание настолько сильное, будто меня три жизни томили рассказами и картинками про это, а в руки ничего не давали. Отчётливое понимание того, что жить с тобой или умереть – всё счастье, когда ты в моих руках. Главное – с тобой. Рядом. Обнявшись.

Впервые обнаруживаю у себя маленькие полусадиистские наклонности терзателя любимого тела – словно дали наконец плюшевую игрушку, предел детской мечты, и теперь душу её, кусаю, мну и треплю, так сильно радуюсь своему огромному счастью – люблю в общем.

От телесного пира рывком – иначе никак – мы перешли к пиру застольному. Ты – математический кудесник еды, умеешь слагать почти несовместимые ингредиенты так, что результат поражает точностью и искать «ошибку» становится незачем и некогда; сначала всё поедается глазами и тут же – руками-зубами, а затем предаешься воспоминаниям о чуде.

После – лишь короткий отдых под философию моей сигареты и отмеченный влажной хитринкой взгляд твой.

– А давай, наш Юрка будет немножко клоуном? – спросила ты.

– Давай. Как ты?

– Нет, я серьёзный клоун, – твой смех заразителен, обязательно поддашься и тоже рассмеёшься, и вот меня уже не удержать.

– Тогда пусть он будет пафосным немножко клоуном.

– Как это? Как ты?

– Не знаю пока. Придумаю, потом покажу.

Кивнув и улыбнувшись, ты плавно опустилась на кровать и погрузилась в свою рутинную работу за ноутбуком, разбирая пачки файлов, перепачканных кудрявой вязью непонятных мне слов. Работа, которую ты выполняешь, – твой наркотический буквенный угар.

Я сидел и подглядывал за тобой, за тем, как ты умеешь погружаться в то, что делаешь. Мне казалось, что я присутствую при рождении чуда, не очень, правда, понятного мне чуда рождения маленьких шедевров, сотканных буквами. Я, словно акушер, боялся неосторожным движением спугнуть новорождённую красоту оттенков логоса. А ты – плавильная печь, от тебя шёл почти физически осязаемый жар, ты выливали металл дымчатых букв в причудливые формы изящных слов. Красиво так, что становилось печально, что я вот так не умею.

Я мысленно потрогал губами твою душу, поблагодарил за умение и сам пошёл писать дальше про Юру.

«Два последних года школы Юрка с друзьями провели смеясь, превращая в балаган и уроки с контрольными, и комсомольские собрания.

Иногда Юрку «разбирали» на комсомольских собраниях как злого нарушителя школьной дисциплины. Без результата. Не помогал и строгий комитет комсомола школы: все смеялись.

Но ещё два года тому назад дело обстояло иначе. У Юрки, от рождения мальчика стеснительного и робкого, тогда наступил определённый момент жизни, случающийся в жизни каждого мужчины, а вернее, того, кто уже считает себя таковым. Непонятное состояние, когда весной вдруг начинаешь испытывать потребность в общении с противоположным полом. Толком не знаешь ещё, что с этим полом делать, но потребность уже чувствуешь. Вот и Юрка ощутил её по полной и почувствовал к одноклассницам страшную тягу неясной природы.

А ответного влечения никто из девушек демонстрировать не собирался. Как выяснилось, их совсем не интересуют мальчики, дни и ночи проводящие в изучении разных мудрёных наук. Юрка долго пыжился, пытаясь придать себе вид беззаботного и веселого балбеса, но ничего не получалось. Устав от игры в идиота, а также от того, что сильно хочется, а ничего не получается и что при этом делать – непонятно, наш герой, стесняясь самого себя и собственного голоса, пригласил в кино одну из первых красавиц класса. В ответ получил удивление и смех. И отказ.

Пришло время измениться – Юрка это прочувствовал, обхватив до боли голову, и твёрдо решил покончить с глубокой внутренней неуверенностью, вызывающей ненужное стеснение – основную причину бед. Вскоре увидел в газете объявление о дополнительном наборе в группу пантомимической клоунады, и тут же заставил себя поехать по указанному адресу.

Весь коллектив группы вместе с руководителем, по виду старше Юрки года на два, неожиданно для новичка обрадовались. А обрадовавшись, не стали тянуть и попросили показать им, как перелезают через воображаемый забор. Юра, страшно смущаясь, показал, как мог. И... всем понравилось. Начались серьёзные занятия, и через пару месяцев Юра умел делать всё, что нужно, причём не хуже других. Наступило интересное время концертов и выступлений.

Юркиной группе приходилось выступать в антрактах перед самой трудной аудиторией – на молодёжных дискотеках, без сцены, с прямым контактом. Полутрезвая молодёжь замолкала минут через пять, а ещё через десять радостно аплодировала и смеялась.

Юрка постепенно вращался в маску клоуна, новое увлечение затягивало, и вскоре ему ничего не стоило на главной площади города начать декламировать стихи Есенина с таким лицом, будто перед толпой зевак сам Есенин и есть. Верила или не верила толпа, но не расходилась.

Ради тренировки Юра мог страстно признаться в любви незнакомой девушке на улице, и никто из проходящих мимо людей даже не догадывался, что у «влюбленных» это первый визуально-словесный контакт. Порой забывала о том и девушка.

Юрка уже считал себя артистом, и знакомые не спорили. Однако всё окружение запротестовало, узнав о его желании поступить после школы в Театральный. Учителя говорили, что его призвание – математика, Юрка не верил. Друзья в один голос твердили о липком блате, без которого даже пытаться не стоит, а Юрка точно знал, что поступит без всяких знакомств. Всё решилось просто – родители не дали Юрке денег на поездку. Выхода не было, пришлось согласиться стать математиком. Но и тут не вышло. Все верили, точно знали о блестящем Юркином математическом будущем, а вот деньги для поездки и в этом случае всё равно нужны. А их опять не дали.

И проезд, и полное обеспечение государство гарантировало лишь военным. Пришлось Юрке смириться с тем, что это его призвание.

Провожать Юрку на перроне собрался весь его класс. Горькое расставание друзей. Девчонки ревели, парни включали кассетный магнитофон с песнями «Наутилуса», неглубоко чиркали лезвием по запястьям, соприкасались кровотокающими местами. Братались. Навек.

Прощай дом, родной город. Юрка видел себя славным бесстрашным воином, ему мерещились сверкающие золотом бесчисленные ордена на груди.

Вскоре случится в его жизни главная встреча. Море станет навеки Юркиной любовью.

Начиналась совсем другая жизнь. Настолько другая, что о прошлой можно было забыть. Пока, правда, об этом Юра не догадывался...

Я задумался на время, почесал за ухом и уловил твой смеющийся взгляд – оказывается, я давно уже отполз на другой край кровати. В ворохе скомканных бумаг, имея из одежды лишь авторучку между пальцев, испачканных чернилами, с напряжённым лицом, я действительно представлял собой смешное зрелище.

– Ты закончила своё? Посмотришь про Юрку?

– Я посмотрю... потом, всё потом.

Мы помяли все Юркины листочки, некоторые разорвали, я потом их склеивал и разглаживал.

Глава 8

Великий Портной соткал жизнь так, словно работал моряком: всё кругом устроил чёрно-белым, полосатым, как тельняшка. Вчера – погружение в глубины счастья, а сегодня жизнь рвётся, сталкивая в чёрную бездну отсутствия тебя – уехала.

Так неожиданно уехала, наскоро бросив пару вещей в небольшую сумку. Уехала, не прощаясь – не любишь длинного расставания, – лишь оставив на столе листочек с быстрыми буквами:

«Уезжаю по работе, на пару дней. Не вздумай мрачнеть и загонять себя в тоску. Люблю».

Оставалось пожать плечами и напугать тоску громким чихом – меня же любят, а это самое важное.

Сварил кофе, выпил. Почувствовал себя почти бодрым – не ем с утра. Без тебя не ем.

Рабочий день пролетел сегодня особенно незаметно. Всё как всегда, но мыслями бежал рядом с твоим поездом, заглядывал в окно. Выходило, билеты у тебя уже вчера были. И ничего не сказала, ни слова – не перестану жить в обнимку с удивлением тобой как женщиной и как человеком.

Этакая жизнь втроём: я, ты и моё вечное тобой удивление. Хотя нет, нас уже четверо – Юрка ещё есть. Вечером, наскоро поужинав, я вспомнил о нём как о спасительной волшебной палочке, махнув которой можно разогнать особо тяжкую вечернюю тоску по тебе.

Трёхсуточный перестук колёс поезда, словно удары Юркиного сердца, взволнованного скорой встречей с городом мечты, становился тише и глуше – приближалось свидание наяву, а не в восторженном сне. Каких-то особенных переживаний, связанных с переменой привычного уклада жизни, Юрка у себя не наблюдал. Скучать не давали и соседи по плацкарте: отслуживший рыжий Олег, возвращавшийся домой, и приятный весёлый рассказчик Андрей Петрович, лет пятидесяти.

В том же поезде, километров за двести до города, Юрка впервые в жизни столкнулся со скрытым обманом. Вот так, из-за угла, неявно, ещё никто не пытался его провести. В его голодно-зловонном детстве всё происходило в лоб, открыто. А тогда в купе, словно волшебник – неясно откуда, – появился мужчина лет тридцати пяти, с честным лицом и начинающей седеть бородой. Появился, присел, живо и заинтересованно познакомился и, достав из кармана колоду карт, предложил сыграть в дурака, убивая скучное время. Никто не возражал. Байки Петровича к тому моменту закончились, и в нависшем молчании выглядело всё как-то уж особенно длинно и липко. Бородатый превосходил присутствующих умением складно вести непринуж-

дённые разговоры, с ним было просто и весело, он казался немного родным, и это не удивляло. Поэтому, когда он предложил сыграть в простенькую, не сложнее дурака, игру «по копеечке», отказался лишь Юра. И то лишь потому, что с детства не силён в этих картинках – отец однажды разорвал на глазах у сыновей колоду карт и так остервенело посмотрел, что дети так никогда и не решились на ослушание, не брали в руки карт.

Юра заинтересованно следил за происходящим. И только отстранённость, нахождение снаружи процесса, позволили ему одному удивиться внезапному появлению четвёртого, якобы случайного, игрока. Ни Олег, ни Андрей Петрович не обратили особого внимания на огромного кавказца, который, пробегая мимо, спросил, не видел ли кто его жену Тамарку, и, тут же о ней забыв, уселся в купе и стал наблюдать. Затем кавказец «уговорил» бородатого принять его в игру. Юрка первый догадался, в чём состоял обман, правда, кавказца с бородатым на тот момент уже давно не было. Жулики сыграли на элементарное повышение банка. Вне зависимости от силы находящихся на руках карт, прохвосты повышали ставку, зная, что у «терпил» деньги рано или поздно закончатся и по правилам игры им придётся пасовать. Так и случилось.

Дальнейший путь до Питера соседи провели молча. Через некоторое время в тамбуре изредка курящий Юрка встретил того самого бородача и отдал ему одну из трёх своих бумажек по двадцать пять рублей: бородач рассказал, что у него неизлечимо больная мама, которой срочно нужны дорогие лекарства. К тому же обещал вернуть деньги завтра же, на остановке в Зеленогорске, о которой наивный Юрка ему рассказал, а бородач обрадовался тому, что в этом городке он сам и живёт.

На автобусной остановке, откуда предстояло ехать в училище, Юрка провёл часа полтора, вглядываясь в распаренные июлем лица отдыхающих питерцев, но знакомой седоватой бороды так и не разглядел. Зато разглядели его самого.

– Вы поступаете в училище Дзержинского? – спросил у Юрки неожиданно появившийся из толпы интеллигентный мужчина в очках и блестящем пиджаке.

– Я? Да. А как вы догадались?

– Ну, во-первых, – улыбнулся интеллигент, – заметно, что вы приезжий. И второе – другого учебного заведения в ту сторону просто нет. Я – член экзаменационной комиссии. И знаете что?

– Что?

– Вы не сдадите экзамены. У нас они очень сложные. Вам нужны фотошпаргалки. Вот, взгляните, – незнакомец протянул Юрке прямоугольные глянцевые листочки.

Мужчина был настолько убедительным, что Юрка купил у него шпаргалки по истории России, а заодно – чему сам Юрка будет потом долго удивляться – и по математике, отдав за всё вместе вторую сиреневую бумажку. После этого в кармане у Юрки осталось рублей семь. С ними он и добрался в летний лагерь училища, где его и ещё полтысячи человек переодели в синюю, не по размерам, робу с беретами и разместили в палатках у Финского залива. И никогда впоследствии Юрка не увидит ни того мужчины, ни его блестящего пиджака с очками.

Жизнь потекла по другому сценарию, совсем незнакомому. Река изменила русло, став шипящей и непредсказуемой горной бегуньей. И люди. Повсюду. В палатках-«кубриках» – люди-храп, люди-чих и люди-мат. В столовой – на «камбузе» – люди-челюсти. В туалете-«гальюне» – люди-птицы, потому что посадка там возможна одна: «орлом». Все они и всегда одинаково одетые, стриженные наголо и оттого одноликие – везде. И некуда скрыться, не найти и маленькую нишу, где можно остаться наедине со своей мечущейся мыслью. Юрка, ещё совсем недавно весёлый и открытый, замкнулся и впал в депрессию. Он мог проводить по несколько дней, ни с кем не общаясь, не выдавливая из себя ни звука.

Лишь пара эпизодов за этот длинный месяц, как пара лучей меж постоянных питерских туч, пробудили Юрку ото сна, выстроили мысли в рядок, возвратили к жизни, порадовали.

Первый из них – экзамен по математике.

– Я готов.

– Что? Что вы сказали? – пожилая женщина впервые удостоила недоверчивым взглядом стоящего перед ней паренька.

– Я говорю – готов. Готов отвечать.

– Не морочьте мне голову. Идите. У вас серьёзный вступительный экзамен, молодой человек. Самый серьёзный и самый важный – математика. Ма-те-ма-ти-ка, понимаете ли? Вон ваше место, – корявый палец, на треть спрятанный под огромным перстнем, указал Юрке на свободное место в конце помещения. Тон резок и груб – спорить бесполезно. Чего доброго, удалит с экзамена, и тогда прощай, море, прощай, мечта и романтика. Юрка нехотя взял свой билет, ненужный листок для ответа и отправился туда, куда сказали. Сев на стул, оглядел помещение. Снаружи «бунгало» выглядело как деревенский бревенчатый сруб. Внутри просторное, с большим письменным столом под красной материей, на столе ваза с цветами, а за столом на стуле та самая женщина, которая – Юрка это хорошо видел – продолжала его презирать сквозь свои огромные очки. В бунгало стояли ещё штук десять столов, за которыми сидели ребята и готовились отвечать на билеты. На измождённых тяжким мыслительным процессом лицах читалось сильное желание сдать экзамен непременно хорошо. А также – полное отсутствие знаний, кои помогли бы ребятам осуществить эти желания. Все вокруг доставали шпаргалки, шуршали и тревожно озирались. Ребята рассматривали свои шпаргалки под почти нулевым углом, что грозило будущим морякам косоглазием.

В этот момент в бунгало степенно зашёл седовласый худощавый мужчина лет под пятьдесят с удивительно пронзительным и внимательным взглядом. От него веяло серьёзностью и одновременно детским задором, казалось, он вот-вот над чем-то рассмеётся. Прошёл и присел на другой стул рядом с женщиной. Та стала нащёптывать вошедшему и показывать пальцем в Юркину сторону. Часть фраз ему удалось разобрать: «Вон тот...», «без подготовки...», «из Казахстана...», «не верю...», «слишком глупое лицо...», «лет десять уже такого не помню...», «даже наши ребята-медалисты никогда...», «и москвичи тоже не помню, чтобы...» Седовласый выслушал её внимательно, встал со своего места и стал прохаживаться между рядами, смотря на то, что написано у абитуриентов на листочках. Дошёл и до Юрки, перед которым лежал совершенно чистый лист бумаги.

– А вы что же не пишете ничего?

– Зачем зря бумагу переводить? Готов я.

– Вы уверены в этом?

– Абсолютно уверен.

– Я сейчас вас вызову отвечать. И если не ответите хотя бы на один вопрос, включая дополнительные, получите «два». Вы всё-таки уверены в себе? – спросил он у Юрки, хитро улыбаясь.

– Готов, – ответил тот, понимая, что сворачивать уже поздно, и пошёл вслед за мужчиной.

«Сражение» двух профессоров математики с семнадцатилетним парнем продолжалось часа два, в течение которых Юра, ответив на свой билет и ещё на несколько, отбивался от перекрёстных вопросов экзаменаторов. Решал уравнения, системы, строил графики функций, доказывал геометрические теоремы. Пока наконец Андрей Иванович – так звали седовласого – не протянул Юрке свою большую сухую ладонь и не сказал: «Поздравляю. Я даю вам “пять”». И несмотря на протесты злой барышни, не очень, впрочем, настойчивые, Юре всё-таки «дали» «пять».

А после обеда – опять одиночество. И так ещё несколько длинных дней, ещё пара экзаменов, не столь для Юрки успешных, но тем не менее сданных на «отлично». Пока однажды, в один из редких солнечных дней, Юрку не вызвали на КПП – приехала одноклассница Ирка, также подавшая документы в один из питерских вузов. Остановилась у сестры, с ней и приехала в училище.

Две стройные красавицы провели в ожидании полчаса, пока наконец не появился тот, кого ждали. Его не сразу узнали – мятая роба, берет на обритой блестящей голове и почти ни одной знакомой черты на посуровевшем лице.

– Здравствуй, – обнялись, расцеловались.

Юрка больше молчал, слушал. Ещё когда летел к проходной, думал, что не выдержит, упадёт Ирка на грудь и попросит увезти его отсюда. Хоть куда. Вот бы она догадалась прихватить с собой гражданские штаны. Не догадалась. Смеясь, рассказывала о своих, как уже Юрке казалось детских, успехах и горестях. Ждала и от одноклассника обычного для него заразного веселья. Не дождалась. Она не знала, что у Юрки в душе уже дал ростки другой, иной родный военный синдром со своими отношениями, разваливающими детскую душу, рвущими и корёжащими её на свой остервенелый лад.

– Я б ей вкрячил. Или обеим по очереди, – услышали они позади себя дурацкий гогочущий смех группы таких же, как Юрка, парней, примостившихся прямо на траве.

Вспыхнули щёки обеих красавиц вишнёво-красным. Юрка же отметил про себя, что ему не стыдно. Уже не стыдно. Лишь обидно за Ирочку. Росли вместе, подобного отношения к девушкам в их классе не встречалось. Новый Юркин коллектив диктовал такую дикость как норму. Ирка не дала своему однокласснику отомстить за себя, увела подальше в лес. Но разговора, весёлых историй и смеха так и не получилось. Потом девчонки уехали.

Вскоре вступительные экзамены для Юрки успешно закончились с единственной четвёркой по истории. Поступил. После двух праздничных дней, когда одни уезжали, грустные, а другие, весёлые, оставались в лагере, начался «курс молодого бойца». Ребят переодели в настоящую морскую форму, распределили по ротам, расселили по баракам.

И начался месяц, деталей которого ни Юрка, ни кто другой из его сослуживцев вспомнить впоследствии не сможет. Месяц «хорового» топота ног, сборок-разборок оружия, стрельб, уставов, занятий, вечного недосыпа и полуголода. Запомнился ему лишь неистребимый запах пота, матерная брань сквозь стиснутые зубы и ещё, пожалуй, дождливый день, отмеченный в календаре четырьмя восьмёрками – восьмое августа восемьдесят восьмого. Сильно дождливый день, но Юрка уже начал привыкать к местной влажности и радовался обилию восьмёрок как некому знаку для себя, метке, означающей изменение к лучшему.

Но для Юры, как и для тысяч курсантов до него, ничего не изменилось – в конце августа, щеголяя новой формой, в питерское Адмиралтейство вошла рота новобранцев, вручив на пять лет свои хрупкие судьбы этим стенам петровской поры. Первокурсники готовились к присяге Родине – главному событию, предстоящему ребятам в ближайшем будущем.

Юрка всё чаще ощущал себя человеко-автоматом, совсем позабыв о своём былом душевном раздразе. Тонкие грани истёрлись, стали незаметными, и думать об этом было просто некогда.

Набранный текст я скопировал и отослал тебе на рабочий адрес, добавив от себя «привет» и «как дела» – тебе не всегда нравились нежности в письмах, и мне частенько доставалось за это «на орехи».

Затем выпил большую кружку крепкого чая и попытался упасть в сон, который не шёл ко мне, как я его ни звал, ворочаясь и считая в уме до ста и обратно. Заныло опять нутро – ну не спится без тебя, не живётся, не естся, не пьётся. И изменить ничего не могу, ускорить твой приезд не в силах – загнала меня в пассив, отпасовала уснувшему року, а я лежу на кровати и ощущаю себя плесенью, которая завязывается на мокром – а у меня тут от слёз уже всё мокрое, – растёт себе и ни на что не влияет.

Без тебя всё одинаково – завтра моё ничуть не отличается от сегодня. Лишь ожидание ответа распирало грудь, лишь надежда скорого приезда питала.

А ты написала мне только «здравствуй» и сказку. Для Юрки. Вот эту:

«Однажды на Земле родился мальчик. Лёгонький, крошечный, большеглазый. В унылый казённый роддом слетелись феи – что им стены, выкрашенные масляной краской, что им тусклый кафель, они прилетели к Человеку. Глаза фей не видят стен, они видят души. Маленькие корзиночки с дарами покачивались над мальчиком, солнечные зайчики прыгали от золотых невидимых даров, щекотали крохотный нос.

Фея Игры подарила черного слона, прошептав заклинание: “Однажды Женица подарит тебе белого слоника, но ты всё равно будешь мечтать о розовом. Но я дарю тебе благословение игры чёрных и белых клеток”.

Фея Цифр поцеловала его мягкие сливочные ушки и вдунула в раковинку левого волшебную формулу, прошептав: “Цифры будут узнавать тебя в лицо, будут ластиться к тебе, как ручные”.

Фея Превращений провела лёгкими пальцами по личику, прошептав: “Дарю тебе способность изображать, что захочешь”.

А фея Любви молчала и улыбалась. Вчера старая фея Мудрости показала ей будущее мальчика. Мальчик вырастет, и благословения фей будут сопровождать его, да. Но! Мальчик настолько верен модели Царства Справедливости – Царства, откуда все мы рождаемся на Землю, чтобы прожить на ней положенный срок, – что не захочет воспользоваться своими дарами, если земная система не готова предоставить ему место, соответствующее его дарованиям. А система окажется не готова. Жалкая, загнивающая намертво система, куда встроиться можно только искоренив себя и своих близких...

Фея Любви молчала и видела, как в плазменные маленькие сердца распадаются на молекулы белого золота и способности к игре, и навыки лицедейства, и таинство счёта, и воля побеждать.

Мальчик вырастет и начнёт отличать Женицу от женицы. И тогда придёт его час. Ибо обладающие этим знанием во все времена превосходили любые системы, да и сами времена.

Фея Любви терпеливо ждёт. Осталось недолго».

Вот, значит, как. Юрку, следуя тебе, терпеливо ждёт фея Любви. Моя же фея прислала мне приветствие – и ни слова о приезде, ни вопроса обо мне.

Ну погоди же, раз так, устрой твоему Юрке презабавнейшее будущее. В отличие от тебя – переменного ветра, чью принадлежность земному не установить, – Юрка в моей власти. Готовься. Я с ним что-нибудь сделаю. Так рассуждал я.

Тогда я не понял, что сказкой своей ты светила мне сквозь темноту Юркиного будущего, помогая, подсказывая, желая видеть его там, в конце освещённого тобой тоннеля.

Часть 2

Глава 1

Юрка с товарищем в тот день заступили дневальными по корпусу; они меняли старшекурсников, поэтому тянуть с принятием вахты не стали.

– Молодцы, – похвалили старшие, кинули повязки дневальных на тумбочку и ушли. У Юрки с Эдиком началось первое в их жизни дневальство.

Дневальный – это тот, кто сутки стоит у большой тумбочки и имеет ряд обязанностей. Например – громко проорать: «Смирно» – если в помещение пришёл кто-то из начальства. Или, допустим, содержать в порядке помещение. Если, конечно, ты в данный момент на тумбочке не стоишь, то мети и убирай. А если стоишь, то внимай телефону и входной двери. Ну это вкратце, там на самом деле перечень обязанностей занимает несколько страниц. У Юрки и Эдика задолго до их заступления на вахту начальники – а их много – выясняли, как хорошо курсанты знают свои обязанности. Несколько раз начальникам не нравился уровень подготовки, Юрке с Эдиком давали затрещину и снова усаживали в Ленинскую комнату учить наизусть обязанности. За пять минут до развода их были вынуждены отпустить. Но уже бегом, потому что опаздывали. И уже никого не интересовало, что Эдик не всё знает наизусть.

Юрка первый принял дежурство – Эдик куда-то запропал, а выяснять, кому заступать первому, некогда, к тому же на тумбочке дневального заверещал телефон.

Военный телефон, скажу я вам, он ведь не для связи. Эти звуки, что из него шелестят, это и не слова вовсе, это варёный горох, который просыпали в глубокий котёл. Потому из того, что там прошелестели, Юрка не понял ничего. Но успел сказать заветное слово «есть» – а это самое главное в армии, – и на том конце что-то булькнуло, кажется, радостным всхлипом.

Надо сказать, что с «точки дневального» Юрка впервые видел тот самый коридор, по которому так часто ходил. Его охватило смятение: давеча им получено так много инструкций, а когда и как их применять – забыл, запутался до такой степени, что уже не очень хорошо понимал своё назначение. И коридор виделся длиннющим отсюда.

Вот тут откуда-то и явился четверокурсник, который сказал Юрке, что он придурок. Потому что Юрка не знал, где Эдик, а должен был. А ещё отругал за то, что в коридоре грязно, а из туалета запах. Юрка подумал было ответить, что туалет – он потому вонюч, что его для этого и строят, но не успел, потому что получил резкий тычок кулаком в лоб. И Юркин «краб» на бескозырке распрямился. Чего, собственно, и добивался «четвертак», чтоб по уставу было. В смысле – ему гнуть «краб» можно, а Юрке ещё нет.

Страшно не было. Скорее обидно. Юрке казалось, что с его старшим братом Вовкой такого бы никогда не случилось, он-то умел внушить собеседнику странное обстоятельство собственного превосходства. Не физического, брат никогда не был сильным. Скорее в моральном смысле, потому что от него веяло лютостью, непримиримостью, готовностью противостоять кому угодно и сколько угодно.

Ещё недавно с Юркой случилась такая история. Володя в то время служил в армии, но история с ним связана.

В школе у Юрки был выпускной. Грустный, красивый, слёзный, весёлый. Ещё до его окончания одноклассница Саша попросила Юрку проводить её домой. А жила она, к слову, в районе переселённых сюда чеченцев, те держались всегда обособленно, Юрка про них ничего не знал ещё. Просто слышал об этом, и всё. Пока шли, было весело, а когда подошли к её дому, темнота вытолкнула навстречу маленького человека с ножом в руке. Человек сказал, что сейчас Юрку зарежут, потому что тот гуляет с их дэвюшками. Что-то подсказывало, что чело-

век не врёт, глаза у него были совершенно пустые. Подходили люди, здоровались с маленьким абреком и, узнав, что тут ничего интересного, всего лишь кого-то сейчас убьют, спокойно уходили. У Юрки затылок промок от пота, его ещё никогда не резали. Слов не было, да и кому их говорить – неясно.

Вдруг в темноте, с другой стороны улицы, Юрку кто-то окликнул сначала по имени, но он не услышал, затем по фамилии. И тут случилось чудо. Глаза человека с ножом перестали быть пустыми, в них появился смысл и даже радость. Человек спросил Юрку, есть ли у него брат Вовка, а когда узнал, что да, есть, – просил передать привет и разрешил гулять тут, когда Юрка захочет. А ещё сказал, что смерти бояться не надо, потому что её нет, резанул себе ладонь и пожал Юрке руку. Кровь с ладони у Юрки дома долго не отмывалась.

Между тем Эдуарду, Юркиному подменному, наkostenяляли. Ему приказали мести коридор, он и мёл, но другие пришли и забрали Эдика, а тем временем наметённую кучку распинали по всему коридору уже третьи. А потом его вернули в грязный коридор и здорово надавали.

В тот вечер старшекурсников в увольнение не отпустили, намечалась проверка, и все бегали, как ошпаренные. Вернее, те, кто постарше, гоняли тех, кто помладше, поэтому младшие бегали быстрее. Но перемещались все.

После ужина, о котором через минуту осталась лишь память, Юрке хотели «отбить ум». Дежурный третьекурсник ещё до ужина упал спать и наказал дневальному поднять его во сколько-то там. В положенное время Юрка зашёл его разбудить, а тот спросонья хотел его ударить. Юрка увернулся и, отбегая, успел объяснить, что тот сам его просил об этом. За это, в качестве поощрения, Юрку оставили в кубрике третьего курса делать уборку. Поощрение заключалось в том, что во время приборки Юрку никто не трогал. Дежурный третьекурсник обладал животом размером с колесо телеги и нравом викинга, с ним старались не связываться. Работая в кубрике, Юрка отдыхал. До полуночи. После этого наступила его вахта. Поначалу вахта складывалась тихой и липкой. Свет гудит, людей нет, никакого шороха, мыслей тоже. Вот кто знает, что смешнее всего тогда, когда нельзя смеяться, тот знает то же самое и про сон. Спать хочется, когда нельзя. Кажется, тогда Юрка научился спать стоя.

Через пару часов пришли «четвертаки» из города, закрылись в шхере, и часа полтора оттуда доносились лишь музыка и звон стаканов. А потом вышел один из «четвертаков» и наблюдал на натёртую Эдиком палубу у гальюна.

В два часа пришло время сменяться. Разбудить Эдика тяжело, тот буквально провалился в яму сна, достать его оттуда, сквозь слюни и закрытые глаза, было почти невозможно. Но необходимо. Через десять минут его удалось-таки поставить вертикально и дотолкать до тумбочки дневального. Там и оставить.

Поспать Юрке дали полчаса, не больше, спал он сидя, потому что успел лишь прикоснуться к спинке кровати. Эдик разбудил его, сидящего, сказал, что «четвертаки» зовут в бытовку.

Там его окончательно разбудили, очень быстро – дали в живот кулаком, и всё. Так, кстати, пробуждаешься мгновенно, можете проверить, но лучше поверьте. Когда отдышишься, перестанешь корчиться, чувствуешь себя бодрим и всемогущим.

В бытовке остался срач, его следовало ликвидировать. Юрка всё убрал, проветрил, остатки еды собрал на тарелку, а выбросить не решился. С едой у него были особые отношения. Еда не всегда водилась в его доме, в детстве, имею в виду.

Пока он думал, что с той едой делать, не заметил, как присел на баночку и задремал. Этого делать было никак нельзя, особенно в бытовке старшекурсников: Юрку могли увидеть. Увидел один. Бил. Впрочем, недолго, его оттащили другие «четвертаки». После настала очередная Юркина вахта, с утра всё в корпусе забегало, запахло потом, утрамбовало пространство матом. Потом начался завтрак. Он ничем не отличался от других таких же. Сейчас расскажу, каким

он был. Подстаканник, в нем стакан, в нём – как бы чай. Если по норме на стакан нужно сто чайнок, им доставалось по три. Сахар в той же пропорции. Масло так же – маленький шлепок замёрзшей жёлтой жижи. И кусок хлеба – сквозь него можно разглядеть мичмана, который дежурил по камбузу. Есть на первом курсе Юрке хотелось всегда.

Потом началась комиссия. Старший шел величаво, указывал в разные стороны, а сзади семенял помощник и, следуя преданным взглядом в направлении указующего пальца, записывал замечания в блокноте. Некоторые замечания исправлялись на ходу юрким Эдиком.

– Ну что это? – удивлялся старший, указывая на висящие не так, как положено, курсантские бушлаты.

– Ну как же так? – вслед за ним повторяли помощники.

– Виноваты, – отвечали командиры рот. И тут же своим дежурным: – Исправлять!

– Так точно! – бодро откликались дежурные и, поворачиваясь к тяжело дышащему Эдику: – Бегом!

Эдик ничего не говорил, он долбил ботинками блестящий паркет. Проверяющие дошли до конца коридора и скрылись в кубрике первого курса. И уже оттуда, еле слышно: «Ну что это? Ну как же так?» – и звук Эдиковых ботинок. Его было много.

Комиссия выискивала недостатки до самого обеда. Помощник главного проверяющего исписал замечаниями два блокнота. Эдуард был похож на загнанного пса. Я не очень хорошо знаю, как выглядит такой пёс, но почти уверен, что жалко.

Через некоторое время на факультет вернулись курсанты. На тумбочке последние четыре часа до смены стоял Эдик, Юрка со шваброй в руках – чтоб все видели, что он при деле – ходил взад-вперёд и ничего не делал.

Хотя не долго. За час до смены у старшины роты украли одеколон. Тот сам так сказал. Поэтому Юрку с Эдиком сняли с вахты и поставили на вторые сутки.

* * *

За окном веселился дождь, барабания о подоконники миллионами музыкальных пальцев – был октябрь.

В гальюне был выключен свет и журчала вода, пахнувшая хлоркой и фекалиями – в нём, в гальюне, никого.

В коридоре горели лампы, гудя тихо-тихо, но если их слушать вторые сутки подряд, казалось, что это гудки далёких пароходов, а кроме них ничего – ночь.

С одной стороны коридора – одинокая толстая будка с телефоном, называемая тумбочкой дневального; ей всё равно, она тут живет. Рядом с тумбочкой грустный дневальный с опухшими глазами, переминаясь на телеграфных столбах, которые нормальные люди называли ногами, – он тут вторые сутки. А позади повторный развод вахты с очередным радостным дежурным – он сменил старого. В прошлом остались вчерашние швабры и тряпки, крики и ругань, телефонные звонки и унижения – впереди новые.

Юрка хотел умереть, и если не выйдет совсем, то хотя бы до четырех часов вечера, до долгожданной смены. Юркины глаза смыкались сами, не спрашивая разрешения, мысль летела не пойми куда. Не пойми зачем.

На следующий день выяснилось, что Юрка не погиб, а вполне удачно сменился. Дожив до отбоя, он заснул, считая себя скорее мёртвым. И только позже, ближе к обеду – скорее живым. Служба продолжалась.

Глава 2

Дни растянули в один. Заколыцевали бесы и катят по кругу. Я не знаю дней недели, я могу приехать на работу, а закрытая офисная дверь напомнит, что сегодня выходной. Я в полёте-в-себя, наверху делать нечего. И дышать нечем. Выгляну иногда, выпью кофе из твоей кружки, не мытой с последнего твоего касания, вдохну выдохнутый тобой воздух и – опять в себя. А ночами светло – наверное, снежит, выюжит, выбеливает кристаллами чьих-то замёрзших слёз. Моих? Нет, я не плачу. Я лишь тихонько выглядываю в окно – не оставлен ли знакомый след носочком в сторону дома? Я не плачу, я лишь нахожу себя выхваченным из дрёмы, сидящим у входной двери.

У продавщицы из магазина напротив – мы с тобой давно её знаем – твоё имя. И у моей начальницы. И у почтальонши тоже. И у почему-то мокрой подушки. А я пишу тебе – что мне остаётся, кроме этого? Ты не отвечаешь. Не доходят письма? Сломалась почта или замёрз почтальон? Хотя нет – электронный почтальон не мёрзнет. Наверное.

Ты молчала в ответ на мольбы: *«Знаешь, попытался обрести разум, сидел за кофе и пачкой сигарет. Один. Думал. У меня совсем нет сил не любить тебя. Я хочу сказать, что правда не могу без тебя. Не умею. Дай мне, пожалуйста, один шанс. Я постараюсь тебе доказать, что я не настолько плохой и бесчувственный. Я стану тем, кем скажешь. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Я сделаю. Только давай мне иногда знать, как ты живёшь и всё ли у тебя хорошо. Я не жалею, нет. Каким я должен стать? Каким? Скажи – стану. Скажи: никогда больше ко мне не прикасайся – не коснусь. Только вернись. Только проснись. Ответь только! И только не проси не думать о тебе. Только не проси не любить. Не кради у меня, не заведи у меня маленькой частички тебя»*.

Молчала.

* * *

Молчала и на это:

«Прочертил мелованной мыслью круг вокруг. Внутри окружённые – мы, что снаружи – не знаю, неинтересно. Хорошо помню твои добрые, мягкие руки, что качали меня и пели колыбельные песни. Я кривил беззубый рот, а ты кормила меня из себя, и я, радостный, замолкал. Расслаблял во сне свои несерьёзные ещё мускулы и пачкал пелёнки, а ты не ругалась, молча мыла меня, меняла бельё и шла стирать. Гуляли с тобой – ты катила меня в коляске и рассказывала первые сказки о разнице добра и зла. Я внимательно сосал соску и морилил розовый лоб – слушал. Потом я пошёл в школу и ты, вручив мне огромный букетик, пошла рядом, а чтобы не боялся, мягко обняла своей ладонью мою – и я не боялся.

Ты не ругалась, когда я приносил из школы двойки или приползал домой с расшибленными коленками. Мазала меня зелёнкой и, чтобы не показал нечаянно, что не совсем ещё мужчина, дула тёплым на раны – и я казался себе терпеливым маленьким мужчиной.

На Восьмое марта я вырезал аппликации из открыток, клеил на тетрадный листочек и размашисто вырисовывал свою к тебе любовь, а ты плакала. Плакала, но моё сердце не сжималось – я видел, что глаза твои счастливы.

Помню, впервые влюбился, как мне казалось, смертельно. Но не любили меня – думал, умру. А сзади подошла всё понимающая ты и просто положила свою тёплую ладонь мне на волосы, потерев их легко и прижала к себе. А я рыдал, рыдал без удержу. Но умирать передумал.

Много раз потом происходило страшное, смертельное, но всегда случалось исцеляющее чудо. И имя ему – мама.

Ты – моя мама.

Сестра-ровесница, рядом родное сердце красавицы, от блеска которой не гибну в округе лишь я, – мне всегда было хорошо с тобой просто болтать о жизни и болтаться дотемна по городу. Ты не стеснялась моей неказистости, нет, напротив – никогда ни словом, ни взглядом не давала мне этого знать, подбадривала меня, говорила, что красив, но я видел себя в зеркало – спасибо тебе, родная, спасибо, я тебе иногда верил, мне так хотелось тебе верить.

Мы росли, и у тебя стало так влекуще всё округляться, ты превращалась в маленькую женщину. И почему-то этого стеснялась, опускала своё раскрасневшееся лицо всё ниже и ниже, особенно когда вокруг тебя стаями кружили сопливые ещё – и не очень – якобы поклонники.

Я не давал тебя обижать, как мог не давал. Помнишь, я пришёл домой с разбитым, свёрнутым набок носом? Я сказал, что упал с турника, а ты ревела, ругалась и пыталась дрожащими пальчиками набрать номер «Скорой помощи». А их просто было много, они стояли во дворе и говорили о тебе гадости, а я услышал.

Много позже, когда меня уже долго не было дома, у тебя случилась, как ты сказала, настоящая любовь. А я ревновал. Не говорил тебе, да и сейчас не скажу, но ревновал. Не физически конечно, а от тоски по прежней тебе, которой ты больше не будешь.

Сестрёнка моя любимая, когда мне плохо и остаюсь один, я представляю, как мы бредём с тобой рядом тихо и нежно туда, где меньше людей, и долго стоим у реки, молча вжавшись друг в друга, и гадаем: льдинки ли плывут по речке или маленькие веточки. И мне становится так тепло и спокойно, что откуда-то берутся силы жить дальше.

Ты – моя любимая сестричка.

Я так долго тебя ждал, я столько выкурил кислых сигарет, проводя томительно-резиновые минуты у окон родильного дома, вытоптав там целое футбольное поле, что когда ты появилась и тихонечко пискнула, заставив дребезжать стёкла окон в округе, помню, меня качнуло и я рухнул, зарыдав от счастья.

Дочка. Доченька. Маленькие платья для твоих куколок, твои платища, которые чуть больше кукольных, – маленькая хозяйюшка нашего дома, деловая и наивно-серьёзная. Везде у тебя порядок. Ты не любишь, когда я разбрасываю после работы свою одежду. Но не ругаешь, только морищишь маленький лоб и развешиваешь по местам мои рубашки и штаны – хозяйюшка.

Отдаю тебе всё. И время своё, не всегда свободное. Заботу и нежность. Хоть я жесток порой – жизнь требует, – на тебя у меня нежности хватит. Придём домой, внутри, на душе, словно свалка мусора, а тут ты улыбаешься, на верхней губе застывший рубин родинки – тонкий простенок меж радостью и горем, и я чувствую, как кто-то заботливо прибрал в моей душе, как зацвели там, в бывшей грязи, ромашки, так на тебя радостную похоже.

Люблю носить тебя на руках, а ты залазаешь маленькими ладошками мне под рубашку, щекочешь, перебирая мои волосы на груди, тебе весело, а я полумёртв от счастья.

Когда, бывает, бредёшь, спотыкаясь о жизнь, случайно останавливаешься у пропасти, балансируешь, не особенно, в общем-то, желая удержаться, я вспоминаю тебя, родная, и понимаю – мне есть для кого жить. Это понимание меня всегда отбрасывает от обрыва.

Ты – моя любимая и единственная доченька. Спасительница маленькая, целительница, не осознающая пока своего дара.

Когда мы зацепились взглядом друг за друга, не знаю, как ты, а я сразу понял – эта девочка будет моей, она уже сейчас моя и всегда была моей, она и рождена для меня. А я для неё. Я всё в тебе уже знал, видел, трогал, слышал – и всё это уже любил. И ты тоже меня и моё знала – я не ошибся. Хочу жить-прожить с тобой, сколько не жалко Небу. Сколько бы ни отсыпано было – всё приму с благодарностью. Минута, до краёв наполненная твоим голосом, – это год счастья. Немного посидишь рядом с тобой, положив на плечо голову, –

могу не спать три ночи подряд, столько черпаю в тебе сил. Поддержу за мягкую ладонь – и в городской смог врывается чистый лесной ветерок. Загляну в глаза – солнышко встаёт над нашим часто унылым и грустным городом. Я тебя люблю, ты – моя жена.

Дочерчен мелованной мыслью круг. Зазеркаленно отражает внутренность себя – меня и тебя. Кто-то третий промеж нас, кто-то ласково третий. Это счастье меня в тебе. Это блаженство тебя во мне. Это ребёночек наш общий, мы выстрадали его – это Счастье наше».

И только на покаянно-успокоенное письмо моё из уже второго, пожалуй, десятка, ответила. Вот на это:

«Мне так хочется посидеть с тобой рядом. И не смотреть в любимые глаза, не смотреть. Как это больно – сгорать в их губительном для меня пламени и знать, знать, что никогда больше они не взглянут на меня ласково.

Просто посидеть и тихонечко поговорить с тобой.

Я мог бы кинуться тебе в ноги и молить о прощении.

И я мог бы все твои претензии ко мне – знать бы ещё их в лицо – опровергнуть. Мягко или резко. И в том и в другом случае – поверь! – мне есть что сказать.

Я не хочу, я не люблю, я не могу оправдываться. И я не могу и не хочу опровергать тебя.

Я хочу просто тебя слушать. Я не буду жаловаться и рассказывать о своём состоянии – я не очень то уверен, что тебе это интересно. Ты что-то говорила про своё умение ставить себя на место другого. Если это так – а это, видимо, так, – ты не можешь не понимать моё состояние подвешенности за горло.

Понимаешь, и всё-таки молчишь.

Что ж, я всё равно не перестану тебя безумно любить, безбашенно обожать и боготворить. Не перестану и не перестану.

Но я не жалею – зачем? Я просто не могу без тебя жить – уже! Я просто не представляю себе мир-без-тебя – уже!

Я просто хочу посидеть с тобой рядом. Просто послушать. Прости меня».

Ты ответила почти сразу:

«Мне очень трудно сейчас. Такой период. Нужно быть одной. Если любишь – поймёшь». Это был твой ответ. А между тем прошло уже два месяца с тех пор, как ты неожиданно улетила, и на улице почти перестали скрипеть чужие шаги в сугробах, уже сопливила капель.

Кажется, тогда от такой объёмной безысходности и непонимания я взвыл и придумал написать тебе первое письмо. От Юрки. Это был контрастный шаг, мне казалось, что именно такой приведёт к изменению ситуации. Тогда я ещё не мог знать насколько далеко можно оказаться от истины, находясь в то же время рядом с ней. Слепая влюбленная ярость.

Глава 3

Собственно, если я хотел продолжать общение с тобой – а я жаждал, – выхода другого, кроме как выйти на тебя «с другим лицом», у меня не было. Паутина сети, как мне казалось, надёжно скроет истинного меня. Мне останется лишь немного поменять стиль общения, и ты меня никогда не узнаешь. Находка выглядела ценной. Я знал все сетевые ресурсы твоего пространства, я знал твои интересы и предпочтения, твои имена. Вымышленные и настоящие. Мне оставалось лишь «переодеться». Что я и сделал, назвавшись Юрием, – нашего ты должна была уже позабыть, да мало ли Юриев на земле, а тем паче вымышленных. Покрутился, дабы привыкнуть к местности, месяц на порталах, сотворил пару скандалов, главной целью которых было любой ценой обратить на себя твоё внимание, пусть даже твоим раздражением или смехом, за которым ты спряталась от меня, и приготовился к главному прыжку.

Долго выжидал, оставив поле возможного соприкосновения «под паром», наконец, через пару недель после очередного скандала, выдал с другого адреса, не известного тебе, на твой, который ты никогда не скрывала:

«Здравствуй! Кстати, объясни мне, как к тебе обращаться, ты скрываешь свое настоящее имя. Я очень давно хотел тебе написать, да не решился всё. Вот, собрался.

Собственно, так, ничего особенного. Просто хотелось с тобой поговорить. Без свидетелей. Один на один. Мне хочется хоть единожды поговорить с тобой в серьёзном тоне. А то ты всю дорогу отшучиваешься. А надо мной так просто смеёшься. А мне иногда бывает обидно. Я знаю, ты добрый и весёлый человек. И это здорово. Но вот ведь, кажется, что я тебе заменяю шута. Я хочу, чтоб ты знала, мне трудно быть нечестным. А с людьми, дорогими мне, такого просто не может быть. А ты мне дорога. Не удивляйся и не сердись, пожалуйста. Это так.

Я очень люблю смотреть на тебя. На фотографию твою, что для всех открыта. Разговариваю с тобой. Особенно плохо когда. Это часто бывает. А вот с тобой поговорю, и вроде как легче становится. У тебя очень добрые глаза, и такие знакомые, что ли, родные даже. В наших с тобой – с фотографией – разговорах ты понимаешь меня, сочувствуешь даже. А как ещё может реагировать женщина с такими глазами? А на самом деле ты шутишь надо мной. Обидно очень. Знаешь, сколько раз я хотел тебе за это нахамить? Много. Но всё время останавливался, глаза добрые вспоминал.

Я в жизни видел мало хорошего. В твоих глазах я вижу необходимое, то, чего у меня было мало. Нет, ты не подумай, пожалуйста, обо мне плохо, я вовсе не собираюсь иметь на тебя какие-то виды, как на женщину. Даже не шучу с тобой встречи. Я знаю, что ты счастлива. И правильно, ты заслуживаешь. И у меня вроде нормально всё. Но ничего не могу с собой поделат. Нравилась ты мне. Глупо, да? Странно? Может, и так. Просто я хочу, чтобы ты поняла меня. Я никогда не смогу сказать и сделать тебе ничего дурного. А ты всё смеёшься. А глаза добрые. Собственно, не жду от тебя ответа. Я хочу, чтобы ты знала то, что я сказал. А теперь смейся, смейся, ты это так любишь. И это идёт тебе.

Прости мне мою откровенность. Надеюсь, не расстроил и не разгневал. Юрий».

Очень довольный тем, что, как мне казалось, удачно поддерживаю ролевую незнакомость с тобой, проверив три раза написанное побуквенно, нажал кнопку, отправил письмо.

Ты ответила на следующий день. Странно, мне приходилось в последнее время, чуть не силой вытягивать у тебя буквы. «Юрий» получил ответ на завтра.

«Здравствуй! Если тебе так хочется обращаться ко мне не вымышленным ником, то называй меня просто “Ю”. Смеяться не стану. Ты же понимаешь, что на сайтах можно держать лишь ролевую ноту. Имиджевую.

Ох, я знаю, что действую на мужчин вот так. Слишком во мне высокая концентрация всего такого, что дразнится, бросает мужчине вызов. Но меня Бог хранит – я этим не пользуюсь во зло, понимаешь? Такое детство было «страдательное» и юность, что при всех даных стать вертихвосткой – не стала. У меня получается дружить с мужчинами. Понимаешь? Именно дружить. Всегда сложно удерживать отношения от сползания по известной траектории: очарованность, влюблённость и далее. Избыток мужского внимания и нежелание никого обижать способствовали тому, что я поняла для себя: мужчине нужна женщина не только в роли возлюбленной, но и в роли сестры. Сестры нежной, понимающей, прощающей. Сестра не требует и не берёт столько, сколько любимая, правда же? Сестра не осудит, поддержит, поймёт. И вот со всеми мужчинами, которые останавливаются возле меня, я устанавливаю такие отношения. И для таких отношений открыта.

Я не думаю, что ты – шут. У тебя такой темперамент – артистический. Это замечательно. И я шучу с тобой, потому что уверена – ты поддержишь шутку, игру, ответишь в

тон, не взвоешь. И мне понятен порыв, в котором пишутся такие письма. Правда. Всё хорошо, не мучайся.

«.

«Так-так, – думаю себе, – это с какими такими мужчинами ты устанавливаешь отношения сестра – брат? Сколько там становящихся в очередь, и почему я про это ни сном ни духом?» Не имея сил не ревновать, я курил два дня. Как трудно было вновь переродиться в «Юрия», который обязан, просто обязан обрадоваться твоему ответу.

«Ю, привет!

Ты всё верно поняла. Боже, я наконец услышал от тебя серьёзный тон! И ты таки употребила рядом с моим именем “мужчина”. Счастлив очень. Но, поскольку выясняется, что рядом с тобой много “братьев” – я их понимаю, – предпочитаю в таком случае остаться тебе... просто хорошим знакомым. Не против?»

Насчет артистизма моего ты права. Я после школы хотел в театральный поступать, но меня не пустили. А вернее, денег не было, чтобы уехать. Пришлось стать офицером. Там дорогу оплачивали. (Я очень надеялся, что ты не вспомнишь о нашей давнишней задумке сочинить героя, ведь прошло уже много времени). Я ужасно рад твоему ответу, дорогая Ю! Так сильно рад, что со словами сразу стало как-то трудно. Прости. Целую тебя в щёку тысячу раз!»

Я специально написал про щёку, зная, что ты терпеть не можешь такого вольного отношения. Тем более от людей незнакомых. Ты даже мне почти никогда не позволяла так с тобой говорить. Зачем так поступил? А как иначе? С тобой просто так, инертно, общаться нельзя. Во всяком случае, чтобы заслужить твое внимание, тебя нужно постоянно «дёргать» недозволенным. Я дёрнул, а ты замолчала, прислав гневное письмо, в котором просила никогда не говорить тебе глупых ласковостей, поскольку они ни к чему, поскольку ты любишь своего мужа (меня! Ура!) и никогда не допустишь измены. Такие вещи не рассматриваются тобой – и поставила точку. Такую жирную точку, что просто перестала Юрию писать. Впрочем, и про меня, мужа настоящего, не вспоминала, живя себе у своих дальних родственников.

Черт возьми, ни меня, ни Юрия такой поворот событий никак не устраивал, тем более при мысли о пресловутой «очереди» к тебе. Я писал тебе сам, клялся в любви, мычал, плакал, грозил самоубийством – молчала. Писал Юрий, извинялся – молчала.

Что было делать? Мне нужны были от тебя слова. Любые. И я, при помощи Юрки, конечно, пролился на тебя полузловобным преследованием. В смысле не на тебя саму, твои творения подверглись моим нападкам с грубой злостью и желчью. Прекрасно зная, что ты не любишь людей, мыслящих стандартно, плоско, именно так я и атаковал тебя. На твои чудотворения о еде, с которой, по твоим же словам, у тебя был роман, на эти лакомства, которые обожал и которые мне снились, я нарочито жёстко извергал насмешки и похабщину. Писал, что по доброй воле такое никто есть не станет, а если и да, то только за деньги. О том, что ты – о, мой бог! – заигралась в слова и за их калейдоскопом перестала замечать простого читателя, тем самым ставя себя изначально выше него, оскорбляя его.

Ты молчала, я почти слышал, как ты злилась. Но ты молчала в Юркину сторону.

Юра отправил штук восемь писем с извинениями, самобичеваниями, самоунижениями, прося, умоляя простить. Вот твой ответ:

«Ты, наверное, как и я, не можешь быть с кем-то в ссоре. Знаешь, ты просто нормальный. Мне с такими всегда было не по пути. У них своя простая система координат и одна точка отсчёта. У меня – иррациональность снаружи и внутри. Я ищу и нахожу таких же, как я, поражённых многомерностью бытия. Мне ясен их язык. Их образы и кажущиеся непристойности. Это их способ избыть истерику от жизни. Эти люди мне дороги, потому что мы одного рода-племени. И таких людей среди знакомых у меня с десятков найдётся. Я живу, выучив язык обычного люда, потому что живу среди него. Другого-то глобуса нет. Поэтому

у меня обострение боли всякий раз случается, когда нормальный мир через реалистов вроде тебя напоминает мне о моей ненормальности тем, что громко не понимает те рассказы, что внятны мне.

Знаешь, я думала, что те люди, которые ко мне тянутся, тоже в чём-то такие, с луны упавшие, и значит, им будут внятны те же вещи, что и мне. Ну глупа, что поделаешь, такие надежды – удел юных лет, а не моих. Ты не виноват в том, что чужд этих заморочек. Ты не обязан себя заставлять понимать то, от чего с души воротит. Не все должны уметь вскрывать трупы. Не мучайся, утешься. Мне плохо не из-за тебя. Просто твои бравые размахивания флагом нормальности были так энергичны, что флаг задевал меня по лицу. Мокрый и тяжёлый. Но мне нужно было просто отойти в сторону самой, а не ждать, что ты уймёшься. У тебя свои мотивации и свои болевые точки, и я тебе не судья. У нас нет общих сфер, это очевидно. Поэтому тебе правда лучше сторониться меня».

В себя после твоего ответа я приходил долго. Ты вычёркивала и Юрку из своей жизни. Так кто ж тебе нужен?

Кажется, от отчаяния, я выпил за месяц половину запасов спиртного из соседнего магазина. Со мной норовили поздороваться за руку все окрестные бомжи. А что делать дальше, так и не придумал.

Глава 4

Куда-то меня засасывало, тянуло и вращало. Туда, откуда у меня уже не было сил вернуться. К тому же я точно не знал, есть ли у меня на это желание. Не пугали горы пустых бутылок в комнатах, не раздражали смердящие люди со смутно различимыми лицами, после ухода которых этих бутылок становилось больше, а моих сил на возвращение всё меньше. И я всё слабее понимал, куда мне возвращаться и надо ли. А потом приходили другие люди взамен старых, впрочем, с теми же лицами. В зеркало заглядывать у меня не хватало духу, и однажды я его разбил, а на порезанную руку намотал грязную футболку, что когда-то ты мне подарила. Хотя в тот момент этот факт не был для меня самым важным. Самых важных уже просто не оставалось. Или все они были важными – я не знал. А за окном уже пылал жарким солнцем май, и я уже не мог сосчитать, сколько времени тебя у меня нет. Месяц? Четыре? Полгода? Что-то среднее, видимо. С работы меня уволили ещё в апреле, после того как однажды пришёл пьяным. Я жил на свою пенсию, что досталась мне по случаю прежних заслуг перед отечеством.

Ты почувствовала как-то, что я повис на краю жизни, и позвонила.

– Здравствуй, – я не сразу поверил-понял, что этот голос – твой, слишком грубые звуки были вокруг, слишком бронхиально хрипела жизнь рядом.

– Привет, – мне трудно было многословить по разным причинам. – Чему обязан?

– Я знаю, что тебе очень плохо.

– Так себе, – я попытался воззвать к остаткам своих сил и не сойти с ума – мне всё ещё не верилось, что это ты.

– Знаю. Соберись, пожалуйста. Не убивайся. Лучше...

– Что?

– Лучше расскажи мне о море. У тебя это иногда хорошо получалось. Мне хочется увидеть море твоими глазами. Напиши. Приходи в себя и напиши. Понимаешь, море всегда означало такое большое разделение, границу, за которой – всё другое. Помнишь эти сказочные «за семью морями», «ладно ль за морем иль худо»? Там – «за морем» – живут непоправимо иначе, словно именно море исключает собой и соседство, и влияние стран друг на друга, и похожесть культур.

– Да, – выпал у меня скрип из прокуренных легких.

– Я буду ждать твоего письма.

Я ещё долго стоял с телефонной трубкой у уха, слушая зуммер. И всё же это была ты. Или я сошёл с ума. Что в принципе означало для меня одно и то же. Станным образом такая мыслительная находка показалась мне ценной. Рассказать тебе о море.

Долго шарил я в голове в поисках шума прибоя, но ничего не нашёл. Ни моря, ни цунами, ни головы, ни самой мысли, которая всё время норовила убежать от меня в сторону пивного ларька. Силой последней капли воли я удержал её при себе и провалился в тяжёлый сон под гудение телеграфных столбов и скрежет собственных зубов...

Твёрдо попадать в кнопки клавиатуры удалось лишь на третий день после твоего звонка. Всё осложнялось тем, что я не был в нём уверен. Цепляясь за надежду, что мне это не пригрелось, я отправил тебе письмо о море:

«Резал блестящим корпусом солёную воду, кренясь в манёвре, смело и от души зачёрпывая её планирем. Двухмачтовый красавец бриг, я раздувал щёки парусов, мчал навстречу мнимой опасности. Возможная смерть – лишь начало другой жизни. Значит – всё жизнь для счастливого в бесстрашии морского скитальца. Разные моря я видел, десятки их. Тёплые до замирания вмиг растаявшей души. Холодные, расчётливые и оттого прекрасные в своём блеске заснеженных алмазов. Призывно штормящие, ласково эротичные, загадочно переменчивые, не отпускающие, вечно манящие, не до конца открывающие свою прелесть – разные.

И вот случайным ветром судьбы прельстил меня таинственный блеск глубинного ума и колдовского обаяния далёкого моря Саргассова. Смело переложил паруса, изменяя курс в направлении пьянящего покалывания в груди.

Саргассы твоих ладоней притягивают, не отпускают, замедляя ход почти до нуля. Омуты твоих ласковых глаз кружат меня в эйфорийном танце полузабытья, и наваждение, с ума сводящее, шепчет нам, что счастье – твоя родная сестра. Полусном или грёзой наносит на память будущего сладкие мазки осознания встречи с искомым. Так долго и трудно искомым. И пусть теперь!

Я – голландец, я – демон мира морей, скрипящий гнилыми мачтами, хлещущий ветра грязными тряпками бывших парусов. Ветра отпущены, и лишь старый, щербатый, изгрызенный древесными червями корпус мой хрипло дохает старым астматиком. Глухо воет, поддаётся тяжёлым воздушным массам, нехотя повинаясь указанному направлению.

Течения морей порой принимают меня и, зацепив за донные надолбы из ороговевших гадов, шепча, тянут за собой, до тех пор пока шальный шквал не вырвет меня, выстегнув из борта кусок обшивки вместе с ошалевшими от ужаса червями.

Блестящие отполированные скелеты моей бывшей отважной команды давно растасканы солёным рёвом морей на сувениры. И лишь в заплесневелом носовом трюме всё ещё перекатываются кости боцмана – его съели первым. Остальные погибли на верхней палубе, тальми глазами моля у Бога каплю пресной дождевой воды.

Я – причина тревожных снов просоленных морских волков. Я – выплунутый Посейдоном из ада за грехи морской, полуразложившийся труп. При виде меня табанят ход и разваливаются ровные ряды красавцев-фрегатов и убийц-линкоров. И у бравого боевого адмирала вздымается в ужасе треуголка, а былая смелость его пахучей струйкой стекает во вмиг вспотевшие ботфорты. Птицы морские, завидев, облетают меня. Знают – не ходят рядом со мной стаи рыб, полагая меня старой, но всё ещё опасной, акулой.

И до тех пор пока ветра не вырвут мои гнилые мачты и море не устанет носить свой ужас и не переломит меня волной пополам, паника всем и одиночество мне – вот моя жизнь.

Пусть! Пусть мои плечи изогнуты ветром. Зато я знаю, где живёт счастье. Я его видел и умер, оставив в нём душу».

– Спасибо, – ты ответила, о боже, ты ответила! Значит, я не сходил с ума, не выдумывал твой звонок, но ты не разделяла моей бурлящей радости. – Спасибо, но я просила о море, не о любви. Не говори мне ничего о любви. Я уехала. И между нами – вот такое непоправимое

море. Ты там, а я здесь, «за морем», и тут у меня всё иначе. С моего берега «море» безбрежно, необозримо, неодолимо. Я хочу увидеть его твоими глазами. Хочу понять: что оно такое? Какое оно? Из того, что ты написал, следует, что оно – любовь, оно – бескрайне и оно же – разделяет. И я думаю, ты прав. Подумай над этим. И придумай что-нибудь. Придумай.

– Да, хорошо. Я ещё что-нибудь придумаю.

Ты мягко положила трубку и, как показалось мне, улыбнулась. Тогда я ещё не понял, что ты просила о помощи. Я честно писал только о море:

«Свершилось – снова увижу тебя. Долгие месяцы вынужденной разлуки в больнице-доке, и я снова в строю. Моё тело залатали-зашили заботливые руки, организм заново налажен-настроен на любые перегрузки, я готов к бою. Готов к любви. Я – подводный корабль и скоро увижу тебя, о Море. Свершилось!»

Боцманда отдаёт швартовые концы, на пирсе торжественно-прощальная музыка земли. С моря несутся радостные приветственные крики чаек на высоченных тонах, а впереди меня ждёшь ты, моя прелесть, моё Море. Я создан для тебя, ты мне необходимо.

Вхожу в твои воды медленно, аккуратно, боясь потревожить лишний раз, боясь выдать волнение. Всплески ласковых волн по бортам – как мягкое и самое нежное касание моей щеки. На мгновение замираю. Трепещу всем корпусом, радостно дрожу всеми механизмами – желаю тебя, хочу жить для тебя, раствориться в тебе. Здравствуй, родное! Как трудно без тебя, плохо и горько, как невыносимо! Но теперь мы опять вместе. Ты ведь никуда меня не отпустишь, верно? Не отпускай. Не надо.

Позади остались огоньки базы, вышел в открытое море. Здесь ты хозяйничаешь, а я вечный гость. Тут нужно подстраиваться, ловить переменчивое настроение. А оно у тебя ой какое разное. Иногда балуешь меня ласковым итилем, я дышу ровно и спокойно, но внутри всегда настороже – с тобой нельзя по-другому. Нежный итиль вмиг может обернуться смерчем, торнадо, тайфуном, ревушим штормом. В такие моменты остаётся лишь заполнить свои цистерны и уйти на дно. Иначе тебе ничего не стоит поднять меня гребнем своей волны и переломить пополам. А на дне спокойно и тихо-тихо. Тут, правда, есть опасность быть расплюснутым, ты очень сильное, моё Море. Но если уходить не слишком глубоко, то можно уравнивать давление внутри себя с твоим, и тогда опасности нет. Как здесь тихо. А наверху ты разогнало всех чаек с их вечными кавалерами – бакланами. А я тут, в тебе растворился и иду дальше.

У меня есть глаза и уши – радары, сонары, локаторы. Всё-всё вижу и слышу. Жду, когда успокоишься, чтобы снова всплыть, поговорить с волнами, принять их ласку и нежность. И когда этот радостный миг наступает, даю воздух на все свои цистерны и не всплываю, нет – выпрыгиваю из воды, как огромный железный кит. Мы так играем с тобой. Под вечер любишь слушать мои рассказы, под вечер по-особенному умеешь слушать. Рассказываю про свою любовь, про тебя – прекрасное, завораживающее. В ответ плачешь и сожалеешь, что не можешь ответить взаимностью. Понимаю, хорошо понимаю, но от этого не легче, и я продолжаю свои печальные истории о любви. Очень боюсь надоесть своим однообразием, но поверь, нет в мире ничего прекраснее, чем быть с тобой, в тебе, чем говорить “люблю”, чем мечтать о тебе, чем умирать и воскресать от любви, от радости, что тебе до сих пор всё это не осточертело и ты не расплющило меня о скалистый атолл.

Иногда вижу по недовольным бурунам, что лучше на время умолкнуть, и тогда ныряю глубоко-глубоко. И очень быстро некогда нежнейшие руки-волны, вмиг превратившиеся в инструмент для охлаждения моего пыла, шлёпают друг о друга, меня промез них уже нет. Я глубоко. Притаился и жду момента, чтобы снова, в миллионный раз сказать тебе, что ты самое прекрасное, сказать, что люблю.

А ещё я ревнив. О да, очень ревнив. Ты говорило мне, что ревность разрушает. Но пойми же, ненаглядное, ведь ты – одно, а нас много. И все твердят, твердят о своих чувствах. И

что остаётся? Только ждать, что когда-нибудь поймёшь: мои чувства во сто крат сильнее, чем у всех соперников, вместе взятых. Не веришь. Хотя и не говоришь прямо об этом, но чувствую – не веришь. Ну и не верь – всё равно тебя люблю. Всё равно никому – слышишь ли там, наверху?! – никому тебя не отдам. Мне проще выдохнуть весь воздух и уйти на дно, чтобы раздавило ты меня, расплющило в морской железный ил. Но даже он каждой песчинкой своей будет шептать нежные слова любви, будет с тобой всегда и всюду, будет в тебе.

Никуда от меня не деться тебе. Нет, не старайся, не выйдет.

А наверху ласковое солнышко греет тебя. А наверху снова водят вокруг чаек хороводы любви красавицы бакланы и басят, гундося, демонстрируют своё либидо. Ты не пускаешь меня наверх, не хочешь меня больше слушать.

Нет выхода – я ухожу на дно, выдохнув весь запас воздуха, отрезав тем самым возможность снова вынырнуть. Сигнала “СОС” не подам – не дожждётся! Буду жить здесь, с тобой, в тебе.

Прощайте все! Я люблю тебя, Море!»

Ты ответила почти тут же.

– Привет, – ты смеялась в трубку так легко и задорно, что невольно улыбался и я. – Теперь ты много раз написал слово «море», которого я опять не разглядела за частоколом твоих обостренных чувств.

– Да? Не может быть, – я подыграл тебе, это было, конечно, не о море написано. Но как же мне было исполнить твою просьбу хорошо, когда самого моря я в жизни не видел. Хотя любил и мечтал о нем с детства. Но тебя-то я любил больше.

Посмеялись в трубку над этим. Я не переходил за границу дозволенного тобой выяснения, а ты не подталкивала.

– Слушай, – спросила, – а как там наш Юрка?

– Какой? – я не сразу понял, про кого ты, я-то лично в них уже запутался, в этих Юрках.

– Как какой? Сколько ему лет? Где ты его оставил? Уже, наверное, серьёзный офицер при солидных погонах?

– Нет. Я оставил его там, где мы с тобой его и бросили – на первом курсе училища. Ему было там не очень уютно, помнишь? Мы с ним скучали по тебе и забыли жить дальше и...

– Не продолжай, не надо. Я помню. Отправь его куда-нибудь в море, и пусть он сам мне напишет об этом. Он его увидит своими глазами, не то что ты, мечтатель, и рассказ его не будет отдавать ничем другим, кроме того, что я хочу. Пусть Юрка напишет мне о своём первом выходе, ладно?

– Да, – я с радостью согласился. – Да. Как ему к тебе обратиться в письме?

– Он знает одну букву, – ты снова засмеялась, переливая звуки. – Так и обращаться.

Я бросился в Юркину жизнь с утроенными силами. За него, себя и тебя. В благодарность ему за то, что он может опять сблизить нас. У него есть шанс. От переполнявших меня радостных эмоций я не обратил внимания, что ты знаешь: я в курсе, какой буквой к тебе обращаться...

Глава 5

«Здравствуйте, Ю!»

Не знаю, как у Вас, а у меня день с самого утра задался. Хотите – спросите, чем задался. Но лучше не спрашивайте – я и сам не знаю ответ. Просто мне как-то по-иному – теплее и задумчивее – стало смотреть в окно, ведь где-то там далеко живёт человек, который хочет знать от меня, обычного Юрки, мою правду о море. Море – вся моя жизнь. Вы думали – любовь? Тоже да. Порой.

Вот вам письмо о моей первой встрече с ним.

Простите, я немного волнуюсь.

1

После первого курса училища нас, четырнадцать человек, разных во всём, кроме любви к морю и, пожалуй, размеров одежды, определили на месяц практики на одну из северных баз.

На пропускном пункте нам обрадовались и сказали, что давно уже ждут с нетерпением. Мы обрадовались, что нам обрадовались. А командир пошёл в штаб уточнять, на какой именно корабль нас отправить.

– Всем подождать в курилке. Минут двадцать. Я быстро, – показал нам командир Борисыч на круглую беседку.

Мы расселись-разлеглись – устали. Тогда мы ещё не знали, что увидим командира лишь в самом конце практики, через много дней. Курили, рассматривая военно-морскую жизнь, для которой нас готовили. А мы считали, что уже почти к ней готовы.

Мимо проходили унылые матросские строи, ведомые унылыми же офицерами. На нас смотрели, не улыбаясь, – так смотрят на огромный валун посреди центральной площади, заготовленный для памятника. Пока работа не начата – понять, зачем валун на площади, трудно. «Хотя если его тут поставили, – наверное, думают прохожие, – значит, так нужно». Нас особо не рассматривали – отворачивались.

Ближе к пирсам один офицер громко объяснял тощему матросу различия половых органов мужчин и женщин. Язык был богат и сочен, мы такого мата ещё не слышали. Матрос глупо молчал и улыбался, тогда ему рассказали о его матери и удивились, почему тот до сих пор этого не знал. Мы хором поставили офицеру зачёт, хотя матросскую маму было жалко.

Между тем с тех пор как командир ушёл на двадцать минут, прошло уже часа два с половиной. Закурили по восьмой, по привычке подавив желудочные спазмы своеобразным ароматом питерской «Стрелы».

После тринадцатой выкуренной послали старшину взвода Ваньку на поиски без вести пропавшего командира. Тот долго упирался, уговаривал нас не посылать его, потому что где ж его, командира, там искать в этом штабе.

Но что делать, ведь Ванька был старшим из нас, а за эти пять длинных часов нас уже всё достало в радиусе километра от беседки. Ваня сдался. Мы грустно и долго смотрели вслед удаляющемуся старшине, пока его спину не скрыли от нас сумерки и туман.

Темнота так и не опустилась, не накрыла – там, где мы находились, в это время был полярный день, – и вечер обозначился лишь тишиной, малолюдностью и застывшими сумерками.

Поиграли в футбол найденной консервной банкой. Увлечлись и не заметили возникшую за нашими спинами заинтересованную фигуру. Фигура обозначила своё присутствие громким рыком и оказалась капитаном первого ранга. Как очень быстро выяснилось, фигура принадлежала большому местному начальнику.

Дорогая Ю, я не буду пересказывать вам в точности всё, что мы о себе услышали. Эти сведения из анатомии несовершеннолетних людей и камасутры для животных вполне могут оказаться для вас малоценными. Смысл его вопросов к нам, если отбросить детали, о которых я сказал выше, сводился к тому, что начальнику не совсем понятно, кто мы, зачем сюда приехали и кто нас родил. Последнее его интересовало сильнее всего.

После того как нам наконец дали ответить и даже немного послушали, нам приказали навести флотский порядок, а именно – ходить строем и петь песни.

Капитан первого ранга ушёл, припугнув нас тем, что ему из окон всё будет видно, мы напугались и стали ходить строем вокруг беседки. Пока ходили, исполнили все известные нам песни хором, потом каждый пел, что хотел, потом ходили молча.

Часа через полтора Игорь, командир первого отделения, которого назначили главным из нас, остановился и громко выразил неудовольствие происходящим, послав его в женское

интимное место. Потом закурил и послал в мужское не менее интимное место командира с Ванькой. Мы остановились, тоже закурили, и послали туда же нашу жизнь. Было грустно.

Кто-то расчехлил гитару – какое море без гитары? – и мы запели песни революционных матросов. Из окон казарм и штаба стали выглядывать офицеры. Мы заорали ещё сильнее. Вдруг кто-то сжалится и посадит нас на гауптвахту? Хорошо бы. Но этого не случилось – пришёл Ванька и сказал, что всё уже нормально и нам надо идти на корабль. Куда мы почти побежали, наперебой рассказывая Ваньке, что с нами случилось, а тот почти нас не слушал, грустно подсчитывая вслух, сколько раз его в штабе называли нехорошими словами, пока он искал командира.

У корабельного трапа нас остановил старший лейтенант с пистолетом. Ванька передал сопроводительные документы. Тот долго вертел бумаги перед лицом, подойдя к прожектору, морщил лоб, напряжённо соображая. Результат умственной работы оказался нулевым, и офицер по связи связался с дежурным по кораблю. Связь отвечала кваканьем, шипением и треском. Как они по такой связи друг друга понимали, осталось для нас неразгаданной тайной.

Когда диалог закончился, старлей сказал: «Ща, пацаны». Что значит это «ща», мы не поняли, но нас это, почему-то, обнадёжило. Ждали не долго, сигареты три. За это время старлей нам поведал о героическом корабле, на который нам повезло на время попасть, о не менее героическом экипаже. Потом спросил, в какое мы направлены подразделение, а узнав, что мы механики, почему-то замолчал. Молчал до тех пор, пока за нами не пришёл заспанный, злой капитан-лейтенант.

Тот долго вёл нас по бесконечным коридорам и трапам, терял, находил, материл и снова вёл, пока наконец не привёл в кубрик. Объяснил, что жить мы будем здесь, указал направление к ближайшему галюну, схематично пояснил, где будем кушать, а вернее, «принимать пищу». Всё сказал и мгновенно исчез.

Мы зашли в кубрик, где-то слева за переборкой нащупали выключатель. Врубили фазу. И увидели себя – прямо напротив было высокое зеркало на тумбочке. Справа и слева – коечки в два яруса. На них накинаны матрасы, обшитые тёмно-коричневым дерматином в дырках и порезах, из которых выглядывал грязно-жёлтый поролон. На флоте коечки называют «иконками» – мы поняли теперь почему.

Я молча двинулся в дальний левый угол кубрика, кинул на дерматин свой вещмешок и упал сверху. Раздеться не успел.

С утра следующего дня нас долго будил взъерошенный лейтенант, то умоляя, то срываясь на писк, пытаясь достучаться до сознания, засыпал нас уставными терминами и соответственными угрозами. Язык устава был нам ясен, но с утра не особенно уважаем. Мы сделали вид, что вяли, а лейтенант, сказав, что механик уже ждёт нас в ПЭЖе (Пост энергетики и живучести), убежал довольный с ехидным видом.

Мы переоделись в робы, с трудом отыскали галюн, сделали все дела и, конечно – а как же, с утра ведь, – долго курили. Через двадцать минут Ваня заметил, что уже хватит курить, а когда мы ему предложили показать нам дорогу в тот самый ПЭЖ, он длинно посмотрел в проём за трапом, послушал гудение железа, а вслух сказал только: курим дальше. Мы молча курили ещё десять минут. Кто-то предложил всё же пойти, куда укажет сердце, авось добрые люди нам подскажут, где этот самый ПЭЖ.

Ю, вы не поверите, мы ходили взад и вперёд между вентиляторами и трубопроводами полчаса или час, но не увидели ни одного человека. Мы заглядывали вниз и кричали туда: «У-у!» – но слышали лишь эхо. Нам опять уже хотелось курить, но вдруг откуда-то снизу вынырнул тот самый чумной лейтенант, обозвал нас... ммм... гулящими женищинами и увёл на два трапа вниз. Под его заботливым руководством мы прибыли в большое помещение с пультами

и мигающими лампочками. За самым большим пультом возлежал усатый мужик в чёрной робе. Он спал, и мы ему были неинтересны.

Тут затрещала связь и загорелась лампочка на пульте. Мужик, не открывая глаз, ткнул в кнопку и прошелестел губами. Из пульта послышался писк, затем визг – кто-то был сильно недоволен. Мужик вытянул левую руку с переговорным устройством – так называемый «банан» – в нашу сторону, и мы сообразили, что и визг, и смысл речи обращены к нам. Попытались прислушаться, морилили лбы, но ловили лишь окончания фраз, поражаясь их идентичности и незатейливости. Погрустнели – очевидно, нам были не очень рады.

– Простите, а что он сказал? – всё ещё надеясь на чудо, задали мы вопрос примятому пультом усатому лицу.

Лицо, не открывая глаз, сказала, что мы всё поймём очень скоро, после чего издало звук, близкий к храпу. Мы догадались, что большое лицо нам ничего не скажет, и приготовились к плохому.

Плохое, в виде стремительного человека огромных размеров с плечами борца, приключилось очень скоро, минут через тридцать. К этому времени вахтенный мужик уже был в боевой позиции. Он кричал кому-то по связи, прикрыв покорёженную шрамами сна щеку правым плечом, и быстро записывал что-то в журнале.

Никто бы не мог даже подумать, что ещё минуту назад этот человек спал мертвецким сном, а датчик кренометра на пульте был запузырен его сонными слюнями, – сейчас стекло датчика выглядело зеркально чистым. Но механик, видимо, что-то заподозрил, так как закричал на мужика вопросительно и, получив невнятный ответ, послал того на... мм... половой член и дал пять минут на исполнение. Потом большой человек медленно повернулся к нам, и мы замерли.

Милая Ю, этот мужчина оказался моим первым морским учителем: то, что нам объясняли целый год в училище, он справедливо посоветовал пристроить у себя сзади, потому что всё это, по его словам, напоминало балет, а тут, на железе, всё серьёзно.

Сначала механик ласково поинтересовался, на кой черт, по нашему мнению, мы тут находимся. Услышав от одного из нас о выполнении боевой задачи, долго ругался матом, а потом объяснил, что главная и единственная наша задача – соблюдать технику безопасности. А ещё сказал, что если мы не будем выполнять требований этой техники и при этом поймеем наглость остаться в живых, то он нас будет иметь безо всякого стеснения, грубо, цинично и долго. И поскольку эта техника, по его словам, важностью превосходит технику секса, то он лично перечислил все пункты, правда, их оказался только один, но очень важный: не совать выступающие части тела – механик перечислил, какие именно, ничего не упустив, – туда, куда пёс отказался бы совать даже свой бестолковый нарост. Мы выслушали его внимательно и расписались в журнале.

Затем механик приступил к практической отработке полученных знаний. Из четырнадцати человек он выбрал меня и предложил взять в руки торчащую под щитом оголённую жилу. Я уже почти коснулся её, но механик меня остановил и назвал нехорошим словом, потому что я внимал полчаса про технику безопасности не ухом, а задом, как он сказал. Потому что никто не может приказать нарушить технику безопасности. А вернее, приказать-то может, но слушать его нельзя.

И тут, дорогая Ю, я на всю оставшуюся жизнь понял великое значение техники безопасности. Я понял, что она главнее всех: и механика, и командира, и даже важнее президента СССР товарища Горбачёва М. С. и его начальников. И хотя непонятно, какие могут быть начальники у президента, но всё равно главнее их.

Потом механику стало интересно, как мы устроились. Мы осторожно поведали ему что, в общем-то, проблем никаких особых нет. И корабль замечательный, и приняли нас радушно и уважительно. И кубрик у нас уютный, и даже про отсутствие – хрен с ним –

белья промолчали. Но имеется одна не очень большая проблемка. И мы бы по таким пустякам беспокоить его не стали, но уж больно жрать охота. В общем, ничего существенного, только не ели мы ничего уже сутки. Механик сказал нам: “Так-так”, а “банану” и тому, кто в нём сейчас жил, сообщил, как он сильно ненавидит его и всех его родственников. После чего механик жестом показал, что мы пока свободны и всё у нас будет в порядке, мы можем не переживать ни о чём, а если надо, он нас вызовет. Такой жест. Одной рукой.

Мы добрались до кубрика, и тотчас туда влетел крупнощёкий мужик в белом халате – в жирных, пахнущих едой разводах, – взял двоих из нас и удалился, оставив от себя только вкусный запах. Мы приготовились к большому пиру – мы же хорошо знали, как обильно и сытно кормят на флоте.

Скоро принесли и обед в двух лагунах с первым и вторым, ещё был чайник и булка хлеба. Первый, большой лагун на треть заполнили жидкостью, настолько прозрачной, что было заметно, что там в ней плавает. А в ней, признаться, ничего толком и не было. Мясо отсутствовало вовсе. Плавали несколько листьев капусты и немного картофелин. Саму жидкость чуть подкрасили красным, наверное, это задумывалось как борщ. В кастрюльке же меньшей, размерами как раз такой, как нам в училище давали на четверых, была пишенная каша, тоже без мяса. Хотя на него был намёк в виде тёмно-коричневой подливки.

Я был одним из немногих, кто отважился попробовать “борщ”. С меня хватило трёх ложек – борщ сильно отдавал обычной водой из-под крана. Второе разделили, как смогли, по-братски. Запили всё это жидкостью из чайника под кодовым названием “компот”, в котором из компотного не было ничего, и заели имеющимся хлебом, посыпав его крупной солью. Не густо, но через несколько дней мы были рады и этой пище, поскольку другой для нас не нашлось.

Следующие три дня мы прожили в кубрике, занимались кто чем, разбавляя досуг дневным, вечерним, ночным и утренним сном, походами в галюн для гигиены и ритуального курения.

Вот с сигаретами, Ю, проблем у нас не было никогда – выменивали у матросов на якорьки с нашей формы. Те были рады. Мы тоже. И никто из начальства о нас не вспоминал, никому мы были не нужны.

На четвертый день мы устали и предприняли попытку выйти в город или на базу – ну или просто спуститься с трапа. Но дежурный на трапе доходчиво объяснил, что никуда не выпустит, потому что нам нельзя покидать корабль, так как у нас нет увольнительных документов, а их никто не даст. Мы решительно не уходили. Дежурный сказал, что не понимает причин, нами двигавших, ведь у нас и так всё есть для хорошей жизни. Мы опять промолчали и не ушли. Тогда офицер назвал нас нехорошим словом и предупредил, что расскажет об этом механику. Мы вернулись в кубрик. Ни одна душа не вспоминала о нас ещё три дня.

Вечером третьего дня узнали от почти родных матросов, что на завтра запланирован выход в море. Мы радовались и, беззлобно ругаясь, составили график смотрения на море в иллюминаторы.

Милая Ю, мы не спали всю ночь, мечтали и грезили, и каждый, прикрывая глаза, видел себя отважным моряком. Я тоже. Сбывались пацанские мечты о далёком и волнующем.

Море, Ю, море, наше море намечалось на завтра. Я был рад, что родился восемнадцать лет назад, прожил их в ожидании главного и вот – ура, дождался!

2

Предраассветную дрему порвал на тряпки топот сотни ног. Звонки, смысла которых мы ещё не понимали, грозные крики дежурного по корабельной трансляции, отрывистые команды – корабль, этот огромный кусок умного железа, готовился к выходу.

Скоро нас закачало чуть сильнее – отдали швартовы. Внизу загудело и завибрировало. Мы стали чаще бегать в галюун, чтобы через имеющиеся там три круглых иллюминатора наблюдать, что происходит с кораблём. А он двигался – земляная коса стала менять угол по направлению к нам, вот уже она вытянулась параллельно корпусу корабля и продолжала двигаться. В иллюминаторы мы видели, как коса закончилась высоченным столбом с окошками наверху.

“Маяк”, – подумал я. “Корабль с палубами и надстройками, с тремя восторженными рожами из кормовых иллюминаторов”, – наверное, подумал маяк.

Как только вышли из бухты, корабль – закачало сильнее – он начал проваливаться и резко подниматься. Я отошёл от иллюминатора и заметил, что в галюуне остался один. Грохочущая волна, ударившая в следующий момент в корабельный борт, окатила меня толстой струёй через открытый иллюминатор. Стало мокро, холодно и неудобно.

Солёная вода Баренцева моря плеснула мне ещё и в вечно открытый рот, навсегда отучив от этой глупой детской привычки. В правой руке торчал кусочек мокрой белой бумажки – остатки бывшей папирсы.

Как я оказался на своей шконке кверху пузом, помню смутно. Перед тем как провалиться в зыбкое забытье, успел подумать, что мне не нравится вкус морской воды.

...

Вот уже который день мы лежали в одном и том же положении. Кто-то забывался тяжёлым сном, кто-то стонал. От долгого лежания болело всё тело, я пытался сидеть, но так оказалось ещё хуже. Бортовая качка, килевая. Шконка подо мной проваливалась в бездну, я летел за ней, быстро догонял. А потом она своим жёстким матрасом давила мне в спину. Я валился на бок, не в силах стонать, и снова скатывался вниз. Внутренности рвались в сторону, противоположную движению тела.

Дорогая Ю, простите мне низкую анатомию, но я боялся даже пукнуть, полагая, что от напряжения меня стошнит, не в силах понять, что тошнить мне давно уже нечем.

За едой продолжал ходить лишь один из нас, на него качка не действовала. Он же эту еду и усваивал, а потом одиноко пел жалобные песни. Это нравилось не всем, но послать его подальше ни у кого сил не было.

Трое из нас постоянно рыгали, уделав почти всю палубу и половину зеркала. В кубрике стояла жуткая вонь, но это никого не волновало. Пару раз за весь поход, боясь поскользнуться на блевотине, подходил к столу и я. Отломив кусочек хлеба, глотал, но он не падал в желудок, а норовил выскочить обратно. Тогда я шёл к своей койке, ложился на спину, и хлеб медленно доезжал до места назначения. Желудок радовался, что ему дали хоть что-то, и я знал, что нельзя менять положение тела часа полтора-два, чтобы его, желудок, не пугать, иначе он грозил напугать меня.

Никто не знал, сколько прошло времени. В какой-то день нас долго трясли, объясняя что-то важное, что-то, судя по лицу трясущего, крайне важное. Из всего этого мы поняли только то, что нам нужно идти в ПЭЖ к механику, а он долго ждать не любит, мы это уже знали.

Держась за бортовые переборки, мы двинулись вслед за тем мужиком, что тряс и объяснял важное. Кто-то не выдерживал и обливался жёлтой пеной, я удержался.

Механик сидел почему то в шинели и фуражке. В ПЭЖе качало меньше, чем у нас, от этого мне хотелось улыбаться.

Нас обозвали выпавшими дебилами и рассказали о назначении имеющихся пультах. Мы согласно кивали головами и пытались делать вид, что понимаем. Потом нас просили задавать вопросы. И самый стойкий из нас, который ел, открыл уже рот, но получил такой силы удар между лопаток от позади стоящего, что я удивился, почему наш говорливый не умер. Не дождавшись вопросов, нам выдали уже известный жест, и мы ушли.

Опять заблёванный кубрик со спасительной-но-надоевшей коечкой. И опять вверх-вниз, влево-вправо, опять звериные рыки ребят и унылые песни.

** * **

– Курсантам выйти построиться на вертолётную площадку! – уже, наверное, раз пятый или шестой надрывался простуженный злой голос в корабельном динамике трансляции. Мы – вялы и безынициативны.

После того как динамик традиционно оскорбил наших матерей, его пнули, и он повис на одной нитке провода, вывалившись из гнезда, пискнул и навеки уснул.

Нас пятнадцать минут никто не трогал. Потом в кубрик влетел человек и ругался матом. Нам показалось, что нас не уважают, и мы, в свою очередь, этого человека тоже не уважили, несмотря на то что он представился помощником командира корабля. Мы проявили мужество – молчали и не шевелились.

Ваню мы уважали больше, и поэтому, когда он сказал: “Пошли!” – мы оделись и пошли на вертолётную площадку. Идти оказалось недалеко, она была наверху, прямо над нами. Весь экипаж, стоявший тут уже долго, смотрел на нас зло. Стоять – а как иначе назвать вертикальную позицию человека, я не знаю – было трудно, тем более что здесь, наверху, дул холодный ветер, который срывал верхушки волн и хлестал их ошметками наши лица, а мы зубами держали ленточки бескозырок.

Кто-то главный, в чине капитана второго ранга, с красным лицом, стоя перед флагом, кричал в микрофон. Понять его было трудно – ветер рвал речь в клочки и раскидывал их в разные стороны. Из клочков речи, что долетали в нашу сторону, я сделал вывод, что он нами недоволен. Мои догадки подтверждались тем, что весь экипаж смеялся, глядя в нашу сторону.

Палуба в очередной раз ухнула вниз в серую бездну. Я едва успел ухватиться за спасительные леера. Того, кто стоял рядом со мной, скрутила судорога, и он с разворота оросил своим желудочным содержимым мою руку, ухватившуюся за леер, и ревущее море за ним.

Хорошо, что главный этого не видел, а то, наверное, послал бы нас вслед тому грёбаному содержимому. Вскоре стало ясно, что экипаж собрали не для того, чтобы смеяться над облёванным нами, – корабль проходил рядом с тем местом, где недавно погибла подводная лодка. По команде главного матросы принялись кидать в море венки, а экипаж, вместе с многострадальными нами, снял головные уборы.

Милая Ю, когда мы через пять дней вернулись на базу и нас почти не качало, я с трудом верил, что жив. Меня накормили вкусной пиёнкой друзья, имена которых я вспомнил почти сразу.

Мы были живы и счастливы. Понемногу приходили в себя, заставили тех, кто загадил кубрик, убирать всё. Те в ответ матерились, но убирали, и скоро у нас стало чисто и почти не пахло.

Потом мы обедали чем обычно – нам было вкусно.

А после обеда к нам пришёл помощник командира, тот самый, что нас материл и не уважал, пытаясь вытащить на вертолётную площадку. Помощник был злой и визжал – мы ходили строем до самого ужина, перед которым помощник сказал, что это только начало и наши матери сгруппировались, родив нас и обгадив тем самым белый свет, отчего тот перестал быть красивым. После ужина мы опять ходили до самого отбоя.

А на следующий день нам принесли четырнадцать яблок – день корабля, и всем должно было быть хорошо. Мы съели витамины, и нам стало хорошо – никто не трогал, а после обеда – причём в супе дополнительно плавало несколько кусочков мяса – вручили документы и сказали, что мы можем до вечерней поверки пойти в город.

Дорогая Ю, я хочу Вам одной признаться, повиниться. Об этом никто, кроме нас, не знает до сих пор. В увольнении мы обворовали первый попавшийся продуктовый магазин. Напи-хали под широкую форму всё, что попало. Тогда не было видеокамер в магазинах, и нас не поймали.

Через час после начала увольнения мы уже сидели в кубрике и ели. И это был настоящий праздник. Потом – сытыми – орали морские песни, и жизнь казалась не такой уж плохой, а вполне нормальной и даже отличной.

На следующий день праздник закончился, и мы опять ходили строем. Помощник выгля-дел особенно злым, и мы ходили без перерыва до самого обеда, а потом до ужина, после кото-рого нас снова построили и как обычно пересчитали.

Но строевых больше не было. Вы хотите знать, почему всё закончилось, Ю? Сейчас я вам расскажу.

После ужина наш главный музыкант встал в строй с гитарой – а этого делать нельзя, – и пока помощник хватал воздух, успевая в промежутках нас материть, музыкант на один из вопросов начальника в ответ озвучил свою фамилию. После чего помощник нас отпустил и глотал воздух уже у себя в каюте – музыкант оказался однофамильцем с одним известным адмиралом. И помощник не рискнул выяснять родственные связи нашего гитариста. Повезло, короче.

Через пару спокойных дней первая в жизни практика окончилась. Нам вручили доку-менты на трапе и проводили, поблагодарив за службу.

За воротами КПП мы встретили ожидавшего нас командира, и вид его был не спорти-вен.

До Питера добрались без приключений.

Вот и вся история, дорогая Ю. Вы хотели слышать правду о море. Простите, но в истории этой любви нет, она случится у меня много позже. И всё же я надеюсь, что Вам понравится моя правда.

Искренне ваши, Юрий».

Глава 6

«Здравствуйте, Юра.

Знаете, что мне понравилось в Вашем письме больше всего? Расшифровка ПЭЖ в послед-ней строчке – Пост энергетики и живучести. “Энергетика” – слово модное, а “живучесть” – такое оптимистичное.

Вы вот тоже такой – энергетически приятный. Взяли и заменили все подлинные флот-ские выражения на более приятные моему слуху эквиваленты – деликатность Ваша зачтена, тут следует смайлик, да.

Знаете, я сейчас манерничаю в письме, а всё оттого, чтобы не разреветься – жалко тех восемнадцатилетних мальчиков, мечтавших о море, а получивших морскую болезнь под звуки самого нервного из всех человеческих арго. Словно как подросток мечтает о любви, а получает любовную болезнь – нет, не высокое страдание, а дурную “Венеру” – и как потом снова любить Любовь?

А ещё я все время хихикала, читая письмо, – вы смешно описываете даже то, от чего рыдать и ругаться хочется. Ругаться тем самым арго, если бы я им владела. “Потому что никто не может приказать нарушить технику безопасности. А вернее, приказать-то может, но слушать его нельзя” – это я запомню навсегда, Юрий.

Мне понравилась ваша правда – самая правдивая правда. И мне очень нравится тот восемнадцатилетний мальчик Юрка – он славный. И ещё – всё время хочется его накормить. Улыбаюсь.

А что с ним было дальше?

У меня сегодня тоже хороший день. Знаете, я всё время пытаюсь понять, почему так боюсь, когда со мной невероятно хорошо обходятся. Почему настороже, когда меня любят красиво и самозабвенно? Но это долгая история. Сегодня я читала Ваш рассказ и забыла о своих мучительных сомнениях и дилеммах.

Напишите мне ещё об этом славном мальчике.

«.

Мне стало легче – удалось тебя порадовать. Но занозой вонзился последний абзац, где ты боишься, когда с тобой хорошо обходятся. Не веришь в саму возможность такой самозабвенной любви? Боишься проснуться, полагая, что спишь? Мне кажется, я начал тебя понимать. Осталось только дозированно, словно лекарство, принять это знание. Броситься убеждать тебя, что нет, всё это возможно, что это та самая малость, что я могу и должен – так хочу – дать тебе? Нет, глупо – замкнёшься опять, и подобрать ключи к твоим новым замкам станет новой мечтой. Как же в таком случае быть? Навертай, что на самом деле я не так уж сильно тебя люблю, солгать, что не шагнул бы к тебе с крыши небоскрёба? Бред.

Выход пока оставался один – рассказывать тебе Юркой о Юрке. Ах, как я был рад, что он у меня есть, мой спаситель, мой мрачный туннель в твою сторону.

«О, как я рад, дорогая Ю, что и Вас посетил радостный день. Не знаю, боюсь подпускать к себе близко удовольствие собой как пособника вашей радости. Могу только тайно надеяться на своё причастие.

Я не знаю, что рассказать вам. Не знаю в лицо точные буквы, сочетание которых объяснили бы Вашу неуверенность от самозабвенности погружения в Вас влюбленного человека.

Давайте, я вам лучше ещё о себе.

У меня больная сестра. Этот случай произошёл со мной в отпуске, за два месяца до той практики, о которой я вам рассказывал.

...Пешком от вокзала, хотя и не далеко, мы бы не дошли, я чувствовал. Знал, это под-сказывали уставшие руки, в которых три тяжёлые сумки, забитые вещами и надаренными игрушками для сестры. Она шла рядом, схватившись обеими дрожащими ручонками за меня, еле переставляла ноги. Я не пытался отвлечь её пустыми разговорами – она уже около часа, с самого поезда, молчала. Ей нужны были таблетки, которые закончились ещё вчера – загостились не по своей воле у родственников отца и не рассчитали. Билетов на вчера не оказалось, только на сегодня. И вот мы с сестрой после пяти часов сидения в вагоне почти у дома – осталось двадцать минут пешком. Дома есть таблетки, но туда ещё нужно попасть, и я чувствовал – не дойдём.

Почему отец остался у родственников? Наверное, не распрощаться было никак. Веселье встречи – мутное, вот и забыл про дочку свою больную одиннадцатилетнюю и про меня тоже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.